

М. КУРДЮМОВЪ

---

# СЕРДЦЕ СМЯТЕННОЕ

О ТВОРЧЕСТВѢ  
А. П. ЧЕХОВА  
1904 — 1934

YMCA PRESS  
PARIS 1934

---

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО  
И КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

Y M C A - P R E S S

10, Bd. Montparnasse  
P A R I S

ТОГО-ЖЕ АВТОРА:

О Розановъ . . . . . Фр. 6.25  
Церковь и Новая Россія . . . . . 3.75

---

БЕРДЯЕВЪ, Н. А. — Міросозерцаніе Достоевскаго . . 12.50  
БОРИСЪ ЗАЙЦЕВЪ — Жизнь Тургенева . . . . . 37.50  
МОЧУЛЬСКИЙ, К. В. — Духовный путь Гоголя  
(къ 125-лѣтію со дня рожденія) . . . . . 15.—  
РЕМИЗОВЪ, А. М. — Звѣзда Надзвѣздная . . . . . 17.50  
„ — Образъ Николая Чудотворца . . 25.—  
СКОБЦОВА, Е. — Достоевскій и современность . . . 6.25  
ТАМАНИНЪ, Т. — Отечество (романъ) . . . . . 25.—  
БУЛГАКОВА, Е. Н. — Царевна Софья (ист. пов.) . . 30.—  
КЕЛЬСІЕВЪ — Москва и Тверь (истор. пов.) . . . . 20.—

---

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГЪ изданій  
Y M C A - P R E S S за гг. 1921—1934 съ  
подробнымъ изложеніемъ содержанія  
каждой книги высылается безплатно

# СЕРДЦЕ СМЯТЕННОЕ





**М. КУРДЮМОВЪ**

# **СЕРДЦЕ СМЯТЕННОЕ**

**О творествѣ А. П. Чехова**

**1904—1934**

„И уны во мнѣ духъ мой,  
во мнѣ смятется сердце мое . . .“  
(Пс. 142)

**YMCA PRESS**  
**Paris 1934**



## Введение.

Въ 1934 году исполняется тридцать лѣтъ со дня смерти А. П. Чехова.

Сохраняетъ ли этотъ писатель до сихъ поръ свое живое творческое лицо, или имя Чехова, вмѣстѣ съ его произведеніями, — только прошлое, дорогая память о талантливомъ художникѣ, отошедшемъ въ исторію вмѣстѣ со своей эпохой, вообще со всей старой Россіей?

Чеховъ и русская революція...

Чеховъ и современность, не только русская, но и міровая, со всей ея болью и сложностью, со всей остротой ея проблемъ...

Что общаго?

Старое русское поколѣніе, современное Чехову, сохранило о немъ прежнее представленіе, сложившееся въ ту пору, когда появлялись, не производя никакой шумной сенсаціи, одни за другими его повѣсти и рассказы, когда на сценѣ Московскаго Художественнаго театра ставились его пьесы.

На фонѣ своей эпохи Чеховъ не казался особенно большимъ явленіемъ въ русской литературѣ, писателемъ огромнаго дарованія. Еще меньше искали въ его творчествѣ глубокаго и исключительно важнаго и цѣннаго внутренняго содержанія. Любовались имъ какъ тонкимъ бытописателемъ, восхищались его художественнымъ юморомъ; жалѣли Чехова за его „грусть“, какъ жалѣли за тяжелую болѣзнь, и всѣ были глубоко и искренно опечалены его преждевременной кончиной, но опечалены скорѣе какъ-то „по родственному“, потому что въ Чеховѣ всѣ любили не только талантливаго писателя, но и рѣдко привлекательнаго человѣка.

Молодому русскому поколѣнію, выросшему и воспитавшемуся подъ грохотъ революціи, было „не до Чехова“. Оно его почти не знаетъ, или знаетъ очень мало — „урывками“. Во всякомъ случаѣ оно никогда надъ нимъ не задумывалось, не искало въ немъ никакихъ отвѣтовъ на свои вопросы.

Такъ относятся къ Чехову свои.

Но иностранцы его читаютъ иногда съ большимъ интересомъ. Нѣкоторые изъ нихъ очень высоко его расцѣниваютъ. Англійскіе театры ставятъ на сценѣ чеховскія пьесы...

Можно ли теперь черезъ Чехова приблизиться къ пониманію русской жизни, русской души и сколько-нибудь разгадать „загадку Россіи“?

Твердо установилась не только у насъ, но и на западѣ традиція искать ключа къ постиженію русской стихіи исключительно у Достоевскаго. Достоевскій и „âme slave“, для интересующагося сложными русскими вопросами западнаго человѣка, — несомнѣнные синонимы.

Достоевскимъ (хотя это и очень много) въ этихъ случаяхъ все и ограничивается. Впрочемъ, къ Достоевскому прибавляется въ дополненіе еще Толстой, но не какъ художникъ, а какъ религіозный мыслитель, то-есть именно самой слабой стороной своего творчества.

Такой подходъ европейскаго читателя къ глубинамъ русской литературы опредѣляется не столько, можетъ быть, разностью духовнаго склада западнаго и русскаго, сколько характеромъ и направленіемъ всей нашей прежней литературной критики, нашихъ собственныхъ оцѣнокъ и исканій въ области искусства, до извѣстной степени оказывавшихъ вліяніе и на западные вкусы, на западную мысль въ соприкосновеніи съ русскимъ творчествомъ.

Такъ какъ русская литература долгое время была

единственной областью обмѣна мнѣній, то русское общество и предъявляло къ ней почти тѣ же требованія, какія предъявляются обычно къ парламенту и къ политическому клубу.

Отъ охранительнаго полицейскаго нажима старыхъ николаевскихъ временъ русская общественность, искавшая свободы, сама того не сознавая, научилась узкой и подозрительной нетерпимости. Если правительственный аппаратъ пытался давить и искоренять все, отъ чего вѣяло чрезмѣрнымъ, по его мнѣнію, либерализмомъ, то такъ называемое передовое и мыслящее общество преслѣдовало и клеймило каждую мысль и каждое слово, въ которыхъ оно усматривало нѣчто противное этому либерализму.

Власти всюду мерещились опасные люди и опасныя книги.

Общество со своей стороны было склонно усматривать въ самомъ искреннемъ *credo* писателя, если оно не согласовалось съ требованіями обязательнаго „свободомыслія“, явное мракобѣсіе или даже лакейское прислуживаніе власти. Достаточно вспомнить хотя бы Константина Леонтьева, который былъ буквально задушенъ въ литературѣ и какъ мыслитель и какъ художникъ, несмотря на свое почти геніальное дарованіе.

Напряженная до психоза цензура, „идейнаго содержанія“ литературныхъ произведеній въ конечномъ итогѣ привела къ тому, что русскій читатель, даже чуткій и одаренный вкусомъ, при чтеніи книги могъ восхищенно любоваться художественными ея образами, художественной ея формой, но при этомъ тщательно доискивался между строкъ до самаго для себя существеннаго и важнаго — до личныхъ идей автора, до его собственнаго личнаго міровоззрѣнія, которое требовалось опредѣлить и непременно въ окончательной, неподвижной формулировкѣ.



Въ такомъ приѣмѣ критики сказывается наивная и очень ошибочная увѣренность въ томъ, что всякая человѣческая личность, а тѣмъ болѣе личность творчески одаренная, непременно должна обладать неразсѣкаемой внутренней цѣлностью. Иначе говоря, у писателя будто бы всегда есть и долженъ быть опредѣленный міръ идей и представленій, статически непоколебимыхъ и эти идеи и представленія выражаются имъ въ его художественныхъ созданіяхъ.

Самая жадность біографическихъ изслѣдованій, интересъ къ письмамъ писателя часто обнаруживаютъ именно эту увѣренность въ обязательной монолитности внутренняго міра художника: въ интимной перепискѣ автора обыкновенно отыскивается подтвержденіе къ высказанному имъ въ его литературныхъ произведеніяхъ.

Но монолитность не есть непременное свойство писателя.

Былъ монолитенъ Толстой. Онъ до тенденціозности оставался вѣренъ своимъ воззрѣніямъ и въ художественномъ творествѣ; несмотря на всю огромность своей палитры, онъ воспринималъ окружавшій его міръ и даже прошлые эпохи („Война и Миръ“) подъ опредѣленнымъ угломъ зрѣнія, Но былъ, на примѣръ, абсолютно лишенъ внутренней монолитности Розановъ, чувствительный къ каждому касанію жизни, весь сотканный изъ самыхъ сложныхъ противорѣчій.

Міровоззрѣніе и міроощущеніе далеко не всегда совпадаютъ у писателя. Міровоззрѣніе вырабатывается главнымъ образомъ подъ вліяніемъ духа эпохи; міроощущеніе зависитъ отъ природной сущности личности, отъ склада души.

Въ своемъ міровоззрѣніи человѣкъ за рѣдкими исключеніями подчиненъ воздѣйствію окружающаго; кругъ его идей, какъ камень въ рукахъ ювелира, подвергается граненію эпохи. Но въ сферѣ своихъ

интуитивныхъ воспріятій душа художника, остава-  
ясь болѣе свободной, опредѣляетъ свое отношеніе  
къ міру нѣсколько иначе. У художника очень часто  
оказывается „умъ съ сердцемъ не въ ладу“. И, чѣмъ  
больше нарушенъ этотъ ладъ, тѣмъ свободнѣе ху-  
дожникъ. Полнота свободы художественнаго твор-  
чества именно и требуетъ отъ писателя раскрыпо-  
щенія его интуитивныхъ воспріятій и оцѣнокъ отъ  
власти разсудочнаго начала, отъ власти опредѣлив-  
шихся въ немъ идей и понятій.

Въ этомъ смыслѣ Толстой, при всей его геніаль-  
ности, не былъ до конца свободенъ, какъ художникъ,  
и міръ идей Толстого въ концѣ концовъ подавилъ  
его творчество. Гораздо свободнѣе былъ Тургеневъ,  
который прикасался очень чутко и близко къ явле-  
ніямъ и сферамъ, абсолютно чуждымъ его міропо-  
ниманію, его „образу мыслей“.

Для очень многочисленной категоріи людей до  
сихъ поръ не можетъ быть колебаній или сомнѣній  
въ томъ, что цѣннѣе и важнѣе въ личности: ея ин-  
теллектъ или та ея таинственная сфера, которую  
Апостолъ называетъ „сокровенный сердца человѣкъ“.

И вотъ въ силу предпочтенія интеллектуальнаго  
начала началу интуитивному или, какъ принято те-  
перь говорить, подсознательному, въ которомъ  
и таятся корни не только художественнаго творче-  
ства, но и всякихъ озаряющихъ человѣческую душу  
откровеній, мы обычно и опредѣляемъ по идеямъ, а  
не по образамъ направленіе писателя, устанавли-  
ваемъ его удѣльный вѣсъ.

Достоевскій и Толстой очевидно и твердо ста-  
вили въ русской литературѣ вѣчныя проблемы —  
о Богѣ, о смыслѣ жизни.

Въ такихъ произведеніяхъ какъ „Братья Кара-  
мазовы“, „Бѣсы“, „Война и Миръ“ — геніально на-  
писанныхъ монументальныхъ созданіяхъ художест-

веннаго слова — нельзя не замѣтить основныхъ идей ихъ авторовъ. Міровоззрѣніе Толстого и міровоззрѣніе Достоевскаго совпадали съ темами и разработкой ихъ произведеній. Но совпаденіе это не всегда обязательно. Напримѣръ, у Гоголя его совсѣмъ не было. Гоголь вѣрилъ въ Бога, ѣздилъ паломникомъ въ Святую Землю, написалъ „Размышленіе о Божественной Литургіи“, запостился буквально до смерти... А въ его художественныхъ твореніяхъ нѣтъ не только ни одного мало-мальски одухотвореннаго живого образа. но ни одного человѣчески выноσιмаго лица. Чувствовать и изображать онъ могъ лишь Собакевичей и Чичиковыхъ, хотя много и мучительно думалъ о Богѣ, о спасеніи души, о загробной жизни.

Чеховъ въ своемъ творествѣ какъ будто никакихъ проблемъ ни для себя, ни для читателя не ставилъ.

Какъ человѣкъ онъ былъ въ высшей степени скромнень, скрытенъ, и внутренне застѣнчивъ какъ писатель. Меньше всего онъ посягалъ на „учительство“ и меньше всего его читатели готовы были видѣть въ немъ „властителя думъ“, хотя бы на самый краткій періодъ.

Чехова въ его эпоху скорѣе склонны были упрекать именно за „безидейность“ его творчества. Ни одной строчкой своихъ произведеній онъ ни въ чемъ не совпалъ съ общественно-политическими тенденціями своей эпохи, съ вкусами и устремленіями „господствовавшихъ теченій прогрессивной мысли“. Онъ совершенно ихъ не касался. Онъ писалъ повѣсти, рассказы, пьесы. Читатели интересовались всего больше внѣшнимъ художественнымъ колоритомъ чеховскихъ произведеній, а театральные зрители чеховскихъ пьесъ главнымъ образомъ останавливали свое вниманіе на артистическихъ тонкостяхъ испол-

ненія и постановки ихъ на сценѣ знаменитаго московскаго театра.

Разговоры чеховскихъ героевъ, мысли, ими высказываемыя, не наводили современныхъ имъ читателей на особенно глубокое раздумье: душевному томленію и тоскѣ Тузенбаха, Вершинина, Войницкаго, разсужденіямъ доктора Рагина въ повѣсти „Палата № 6-ой“ и многому другому подводился одинъ общій итогъ: — пессимистическій тонъ Чеховскаго творчества есть ни что иное, какъ отголосокъ политическаго „безвременья“ 80-хъ годовъ.

Такъ на этомъ и порѣшили.

Чеховъ никого не „клеймилъ“, не пытался никого „пробуждать“... О какихъ иныхъ проблемахъ можно говорить примѣнительно къ автору коротенькихъ новеллъ, не написавшему за всѣ двадцать пять лѣтъ своей литературной дѣятельности даже ни одного романа?

Иначе говоря: Чехова у насъ просто не дочитали до конца. Не дочитали и не замѣтили, что онъ выходитъ очень далеко за предѣлы отведенной ему эпохи, за предѣлы всѣми признанныхъ „чеховскихъ темъ“. Не узнали въ немъ русскаго художника огромной силы и огромнаго внутренняго масштаба, который мало интересовался „теченіями прогрессивной мысли“ именно потому, что все его творчество зрѣлаго періода, смѣнившаго періодъ „Пестрыхъ разсказовъ“ и Антоши Чехонте, стоитъ основами своими какъ разъ въ центрѣ такъ называемыхъ „вѣчныхъ“ русскихъ вопросовъ, надъ разрѣшеніемъ которыхъ подвизался Достоевскій.

Конечно, Достоевскій и Чеховъ совершенно ни въ чемъ не похожи одинъ на другого.

Достоевскій — колоссъ въ тяжкихъ веригахъ своего „жестокаго таланта“, больше прорицатель чѣмъ художникъ. Онъ напоминаетъ суроваго ветхо-

завѣтнаго пророка, сжигаемаго пламенемъ своихъ внутреннихъ озареній. Образы въ творествѣ Достоевскаго — лишь случайныя оболочки его мыслей, символы, которыми онъ облачаетъ и прикрываетъ свое исповѣданіе.

Чеховъ — прежде всего и больше всего художникъ. Его творческое зрѣніе острѣе, проникательнѣе его обыденнаго взгляда. Образъ, а не мысль открываютъ ему сокровенную глубину вещей. Интуитивное, подсознательное начало у Чехова богаче, мощнѣе начала интеллектуальнаго.

Въ области художественной Чеховъ не былъ пораженъ воззрѣніямъ своей эпохи, ея требованіямъ къ литературѣ и къ писателю.

Его творческій масштабъ значительно шире его интеллектуальнаго кругозора. (Потому, можетъ быть, и письма Чехова рядомъ съ его литературными произведеніями очень проигрываютъ).

О Чеховѣ безъ преувеличенія можно сказать, что онъ — одинъ изъ самыхъ свободныхъ художниковъ въ русской литературѣ. А по значенію поставленныхъ имъ вопросовъ, по его проникновенію въ глубину русской души съ ея мучительными поисками высшаго смысла жизни и высшей правды, Чеховъ превосходитъ и „пѣвца любви“, Тургенева и геніальнаго бытописателя русскихъ типовъ, Гончарова, несмотря на совершенство формы у обоихъ, на чисто пушкинскую чеканку характеровъ и мастерство романа у автора „Обломова“ и „Обрыва“.

Міровоззрѣніе Чехова — человѣка близко связывало его съ его эпохой, съ торжествовавшимъ тогда раціонализмомъ и позитивизмомъ. Но онъ не принималъ ихъ до конца, не могъ на нихъ успокоиться. „Несомнѣнное“ въ глазахъ образованнаго человѣка прошлаго столѣтія, въ глазахъ художника становилось сомнительнымъ, а иногда и рушилось, откры-



вая просторъ для иныхъ озареній. Тогда и Чеховъ — интеллигентъ начиналъ колебаться.

Чеховъ и своей личностью и духовнымъ состояніемъ своихъ героевъ изъ среды русской интеллигенціи уже знаменуетъ кризисъ русскаго рационализма, какъ господствующаго направленія, еще довольно задолго до того момента, когда этотъ кризисъ наступилъ для значительнаго большинства уже съ несомнѣнной очевидностью. Чеховъ сумѣлъ ощутить его первыя трещины. Есть всѣ основанія думать, что онъ носилъ ихъ и въ самомъ себѣ, но появились онѣ въ немъ, надо предполагать, со стороны его творческой интуиціи. У Чехова былъ „умъ съ сердцемъ не въ ладу“, происходила въ немъ постоянная борьба. Иногда прорывалась она наружу и въ его откровенныхъ бесѣдахъ.

Въ воспоминаніяхъ своихъ о Чеховѣ, напечатанныхъ впервые въ 1915 году, И. А. Бунинъ пишетъ:

„Что думалъ онъ о смерти?

„Много разъ старательно-твердо говорилъ онъ мнѣ, что безсмертіе, жизнь послѣ смерти въ какой-бы то ни было формѣ, — сущій вздоръ:

„— Это суевѣріе. А всякое суевѣріе ужасно. „Надо мыслить ясно и смѣло. Мы какъ-нибудь по-толкуемъ съ вами объ этомъ основательно. Я, какъ дважды два — четыре, докажу вамъ, что безсмертіе — вздоръ. —

„Но потомъ нѣсколько разъ еще тверже говорилъ прямо противоположное:

„— Ни въ какомъ случаѣ не можемъ мы исчезнуть безъ слѣда. Обязательно будемъ жить послѣ смерти. Безсмертіе — фактъ. Вотъ погодите, я докажу вамъ это“.

Дальше И. А. Бунинъ пишетъ:

„Послѣднее время онъ часто мечталъ вслухъ:

„— Стать бы бродягой, странникомъ, ходить по

„святѣмъ мѣстамъ, поселиться въ монастырѣ среди  
„лѣса, у озера, сидѣть лѣтнимъ вечеромъ на лавочкѣ  
„у монастырскихъ воротъ“ . . .

Можетъ быть, именно эта самая внутренняя борьба и сообщала Чехову особенную пытливость въ отношеніи къ жизни, напрягала и обостряла его художественный слухъ, дѣлала его исключительно тонко внимательнымъ ко всякой живой душѣ вообще, въ особенности же къ сложнымъ внутреннимъ духовнымъ процессамъ въ человѣкѣ, совершенно невидимымъ для обыкновеннаго глаза.

Подъ толстымъ слоемъ сѣрой паутины, затянувшей и какъ бы умертвившей всю внѣшнюю жизнь человѣка, видитъ Чеховъ внутренній міръ доктора Андрея Ефимыча Рагина („Палата № 6“) одиноко изнемогающаго въ самомъ себѣ между вопросами „да“ и „нѣтъ“.

Видитъ и въ другихъ это скрытое. Принимаетъ и „выслушиваетъ“, какъ самый внимательный врачъ. Послѣдній, кстати сказать, во многихъ случаяхъ помогать наблюдать Чехову — художнику. И тотъ фактъ, что Чеховъ ничего, подобно Толстому, не пытался самъ утверждать и проповѣдовать, а лишь искалъ и слушалъ, сообщаетъ всему, художественно изображенному имъ въ области исканій высшаго смысла жизни и въ области религіозной вѣры, цѣнность чисто объективнаго значенія.

Вся сила независимости и свободы чеховскаго таланта особенно полно ощущается въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ подходитъ къ людямъ иного, чѣмъ онъ самъ, духовнаго склада, — изображаетъ ясную цѣльность непоколебимо вѣрующихъ душъ. Лишь иногда едва замѣтный налетъ грусти ложится на нихъ изъ подъ чеховскаго пера — точно тѣнь той печали, которую переживаетъ самъ авторъ въ посто-

янной тревогѣ своихъ собственныхъ мучительныхъ внутреннихъ колебаній между „да“ и „нѣтъ“.

Тонко, глубоко ощущаетъ Чеховъ основную стихію русской души — русское богоискательство въ различныхъ его формахъ и на разныхъ ступеняхъ русской культуры. Конечно, у Чехова нѣтъ огненной убѣждающей страстности Достоевскаго ни въ какой, даже малой мѣрѣ. Чеховъ всегда тихій, точно онъ говоритъ вполголоса; у него прозрачные „акварельные“ тона, которые, впрочемъ, иногда густѣютъ и достигаютъ огромной силы . . .

На фонѣ современной ему литературы Чеховъ стоитъ совершенно особнякомъ не только по содержанию своего творчества, но и по своей писательской смѣлости.

У него отсутствуютъ совершенно всякіе „гражданскіе мотивы“, „зовы впередъ“; намекъ нѣтъ ни на „освободительный паѳосъ“, ни на такъ называемую „гражданскую скорбь“, однимъ словомъ на все то, что въ свое время дѣлало Горькаго не только „вождемъ“, но чуть ли не геніемъ въ глазахъ массовой читающей публики. Чеховъ, напримѣръ, позволилъ себѣ то, чего не осмѣливались бы сдѣлать другіе: о мужикахъ и о деревнѣ („Мужики“, „Новая Дача“) онъ писалъ въ тонахъ, совершенно недопустимыхъ для тогдашняго сентиментальнаго народолюбства; героями своими, изъ числа наиболѣе ему симпатичныхъ, онъ выбиралъ не „передовыхъ дѣятелей“, а представителей очень непопулярныхъ тогда общественныхъ слоевъ — офицеровъ, помѣщиковъ и т. д.

И никогда, ни въ чемъ онъ не скрывалъ того, что человѣческая скорбь ему всегда была несравнимо дороже, важнѣе, интереснѣе всякой „гражданской скорби“.

Теперь, передъ лицомъ поработенной коммунизмомъ Россіи, мы всѣ почти неизбежно склонны къ

идеализаціи нашего прошлаго. И, не только нашей молодежи, но намъ самимъ сей часъ трудно представить, до какой степени русскій писатель времени Чехова былъ стѣсненъ и подавленъ нашимъ интеллигентнымъ обществомъ, которое навязывало ему свои вкусы, оцѣнки, взгляды, свои злобы дня. И, чѣмъ талантливѣе былъ авторъ, тѣмъ настойчивѣе все это ему навязывалось, тѣмъ рѣшительнѣе отъ него требовали чтобы онъ эти опредѣленные лозунги провозглашалъ . . .

Чеховъ ничего не „провозглашалъ“ и, конечно, не вызывалъ бурныхъ восторговъ своихъ современниковъ. —

Какъ и всегда бываетъ съ настоящими большими писателями, Чехова не дооцѣнила его эпоха. Размѣрами своего дарованія онъ не укладывался въ ея рамки, а по духовному складу своей художественной личности былъ качественно слишкомъ высокъ для своего времени, его преобладающихъ интересовъ и устремленій.

Чеховъ, внимательно читаемый теперь послѣ кровавой русской катастрофы, не только не кажется изжитымъ до конца, но становится намъ гораздо ближе, во многомъ понятнѣе и неизмѣримо значительнѣе чѣмъ прежде.

Интересно, что именно онъ, у котораго никогда не прозвучало ни одной политической ноты въ его произведеніяхъ, какъ разъ и подводитъ насъ къ самымъ корнямъ этой катастрофы, къ ея глубокимъ внутреннимъ истокамъ: изъ многихъ „слагаемыхъ“ чеховскихъ рассказовъ и повѣстей получается страшная „сумма“: неустраняемая неизбежность русской революціи, неизбежность духовнаго порядка.

---

## I.

**Чеховъ и его герои. Отношеніе Чехова къ человѣку и его судьбѣ. Тоска у Чехова. Жизнь и смерть. Печаль примирённости.**

„Человѣкъ, яко трава днѣе его, яко цвѣтъ сельный, тако отцвѣтетъ: яко духъ пройде въ немъ и, не будетъ, и не познаетъ къ тому мѣста своего.“ (Пс. 102.)

Чеховъ родился въ сѣрой и убогой обстановкѣ мѣщанской семьи, въ провинціальномъ городкѣ на югѣ Россіи. Ранніе годы его жизни не дали ему никакого культурнаго запаса на будущее, никакой крѣпкой внутренней установки, которая помогла бы ему въ тотъ моментъ, когда онъ изъ сына таганрогскаго лавочника превратился въ русскаго интеллигента, легко сопротивляться диктатурѣ господствующихъ идей.

Чеховъ вынужденъ былъ самъ себя воспитывать. Насколько трудно было это самовоспитаніе, мы можемъ судить по тѣмъ немногимъ откровеннымъ обмолвкамъ, какія мы находимъ у этого очень скрытнаго человѣка лишь въ самой задушевной части его обширной переписки — въ письмахъ къ А. С. Суворину.

Суворину Чеховъ признается въ томъ, какъ ему трудно было „по каплямъ выдавливать изъ себя кровь раба“, какъ онъ, писатель „разночинецъ“, цѣлой цѣлой жизни старался достигнуть той внутренней



свободы, которая „писателю дворянину давалась даромъ“. И Чеховъ многого достигъ. Во всякомъ случаѣ въ области его художественнаго творчества не осталось ни одной капли „рабской крови.“ Но преодолѣть до самаго конца возрѣній своей эпохи Чеховъ не смогъ. Этимъ возрѣніямъ слѣдовали и подчинялись не одни только выходцы изъ низшихъ общественныхъ слоевъ, но и преобладающее почти большинство русскаго культурнаго общества, которое исповѣдовало фанатическую вѣру въ неоспоримую абсолютность точной науки, въ непогрѣшимую истинность позитивизма, вѣру въ прогрессъ и въ конечное торжество человѣческаго разума во всѣхъ областяхъ не только земной, но и общей міровой жизни.

Образованіе, полученное Чеховымъ на медицинскомъ факультетѣ, несомнѣнно утвердило его въ этомъ направленіи, утвердило настолько, что, не будучи ни въ какой мѣрѣ атеистомъ по своей душевной природѣ, онъ принялъ обязательное безбожіе въ основу своего сознанія, будучи глубоко убѣжденъ, что „образованный человѣкъ не можетъ вѣрить въ Бога“.

Не если такого рода возрѣніе не только не мѣшало жить огромному большинству его современниковъ, а даже окрыляло ихъ въ восторженномъ культѣ идеи „всепобѣждающаго человѣчества“, то Чеховъ никогда не смогъ стать оптимистически настроеннымъ гуманистомъ.

Гуманистическое міровозрѣніе Чехова не мирилось съ его интуитивно христіанскимъ міроощущеніемъ. Обязательное безбожіе было тѣмъ ядомъ, которое гораздо больше неизлѣчимаго туберкулеза отравило его жизнь. Выражаясь словами В. В. Розанова „міръ прогорькъ“ и „плоды міра стали горькими“ для Чехова, именно благодаря тому, что безбожіе

лишало человѣческое бытіе всякаго смысла и оправданія.

Въ то время какъ крикливо прославленный современникъ Чехова, Максимъ Горькій, побѣдно восклицалъ: „человѣкъ . . . это звучитъ гордо!“ Чеховъ всѣмъ своимъ творчествомъ какъ-бы говорилъ: „человѣкъ — это звучитъ трагически. Это звучитъ страшно, и жалостно до слезъ“.

Если для Горькаго и для огромнаго большинства тогдашней передовой интеллигенціи самое слово, человѣкъ было только символомъ чего-то собирательнаго, символомъ ничего не выражающей собою идеи „человѣчества“, позднѣе уже окончательно обожествленной коммунизмомъ въ понятіи безликаго коллектива, то для Чехова всегда на первомъ планѣ стояла личность, стояло данная индивидуальность, та единственная и неповторимая живая душа, которая по словамъ Евангелія, стоитъ дороже цѣлаго міра.

И цѣнность этой души для Чехова-художника не зависѣла отъ ея видимаго значенія въ видимомъ мірѣ, не опредѣлялась ни культурой, ни талантомъ, ни даже личной привлекательностью.

Маленькій и ничтожный чиновникъ Невыразимовъ, который „за два рубля и за галстукъ въ придачу“ нанимается по бѣдности дежурить въ пасхальную ночь въ присутственномъ мѣстѣ, не менѣе достоинъ состраданія, чѣмъ знаменитый ученый профессоръ, старый и больной, давно внутренне одинокій въ своей собственной семьѣ. Различіе между ними только въ томъ, что горечь и тоска жизни усугубляются у профессора сложной пессимистической философіей, тогда какъ чиновникъ Невыразимовъ, неспособный ни къ какой сознательной оцѣнкѣ своей судьбы, просто тупо подавленъ ея безисходностью, подавленъ до злобы, которую онъ не можетъ

сорвать ни на какомъ человѣкѣ, ибо ниже и забить его, кажется, и нѣтъ никакого человѣка, и ему остается только схватить и бросить въ стекло догорающей лампы заползшаго на столъ таракана — единственное существо, которое на этомъ свѣтѣ безпомощнѣе его, Невыразимова.

Если человѣкъ мелокъ, пошлъ, непріятенъ, даже гадокъ, то за то судьба его такъ ужасна, такъ трагична, что не хватаетъ духу произнести надъ нимъ, слабымъ и безпомощнымъ созданіемъ, строго уничтожающаго суда. И Чеховъ никогда не рѣшается безповоротно заклеить человѣка, какъ бы онъ ни былъ грѣшенъ. Въ его подходѣ къ самому страшному преступленію какъ и къ самой отвратительной пошлости никогда не звучитъ „благороднаго негодованія“. Достаточно заглянуть въ любую душу, чтобы проникнуться острой жалостью къ ней.

Жалокъ убійца-сектантъ, содержатель постоялаго двора, поднявшій руку на собственнаго брата; жалокъ бездарный писака-конторщикъ, Макарь Денисычъ, которому недоступна даже радость весны, ибо весь міръ отъ него заслоненъ муками самолюбія литературнаго неудачника. Жалокъ чиновникъ, который обманулъ съ горничной свою жену и у котораго ноетъ совѣсть, когда онъ собирается подкинуть къ чужимъ воротамъ будто бы ему подброшеннаго ребенка. Жалокъ пьяница токарь Григорій, сорокъ лѣтъ истязавшій свою жену и протрезвившійся лишь за нѣсколько часовъ передъ ея смертью. Онъ хочетъ выразить ей всю свою любовь и заботу и, когда везетъ ее въ больницу, думаетъ о томъ что надо перемѣнить всю свою жизнь... За сорокъ лѣтъ Григорій не сказалъ ей ни одного ласковаго слова и вотъ теперь, когда онъ отъ волненія и жалости къ женѣ съ трудомъ находитъ эти непривычныя ему слова, — старуха его уже не слышитъ — она лежитъ мертвая въ

саняхъ... Жалокъ воръ и мошенникъ стряпчій, разводившій архитектора съ женой, жалокъ, несмотря на то, что въ немъ самомъ никогда не пошевелилось человѣческое чувство, когда онъ обиралъ и тѣснилъ людей; жалокъ и самъ архитекторъ, которому хочется выплакать всю боль и нечистоту своей жизни на могилѣ несчастной разведенной жены, но которому опустошающая старость не оставляетъ даже и послѣдняго — покаянныхъ освѣжающихъ душу слезъ. Эта старость смотритъ имъ обоимъ въ глаза, когда они стоятъ на кладбищѣ у могилы и рассказываютъ другъ другу, какъ одинъ обидѣлъ лежащую въ этой могилѣ женщину, а другой не только обидѣлъ, но и обокралъ. И рассказываютъ они объ этомъ почти равнодушно, безъ боязни взаимныхъ упрековъ, которые уже не имѣютъ и смысла теперь, когда все давно прошло. Жизнь кончилась у обоихъ, и они видятъ, что напрасны были ихъ грѣхи, что не стоило ради короткихъ и обманчивыхъ радостей этой короткой и обманчивой жизни дѣлать столько зла... И не менѣе жалокъ „непомнящій родства“ бродяга, который мечтаетъ устроить себѣ счастливую жизнь на поселеніи въ Сибири, куда его должны будутъ отправить за „безпаспортность“ послѣ долгихъ скитаній по тюрьмамъ и по судамъ. Богатая и привольная Сибирь представляется ему мѣстомъ желаннаго отдыха, гдѣ все начнется по-новому и по-хорошему... Но сопровождающіе его въ городъ сотскіе, слушая его разговоры и глядя на его тщедушную фигурку, со всей наивной безжалостностью мужицкой прямоты, говорятъ ему о томъ, чего и самъ онъ въ тайнѣ боится больше всего — что изъ за слабаго здоровья ему до этой Сибири никогда не удастся дойти...

Можно перечислить всѣхъ героевъ Чехова и,

если поглубже заглянуть въ душу каждаго изъ нихъ, подвести итогъ всѣмъ ихъ дѣйствіямъ, словамъ, дурнымъ и хорошимъ порывамъ, то послѣднимъ рѣшающимъ выводомъ будетъ только безграничная жалость къ человѣку, къ его безпомощности, къ его ничѣмъ неоправданнымъ страданіямъ.

При этомъ нельзя не замѣтить, что Чеховъ совсѣмъ не сентименталенъ, что онъ избѣгаетъ и боится всякой излишней чувствительности; онъ скорѣе скрытенъ и застѣнчивъ, даже въ своемъ художественномъ творествѣ. Но и скрытность не можетъ заслонить основного въ его отношеніи къ жизни — горькаго сознанія, что нѣтъ счастливыхъ людей на свѣтѣ. Ихъ нѣтъ не только отъ беззащитности, отъ нужды и притѣсненій, иначе говоря отъ соціальной неправды, а просто потому, что счастья, какъ такового, не существуетъ на землѣ.

Въ своемъ творествѣ Чеховъ какъ будто задается цѣлью возможно шире развернуть жизненный калейдоскопъ, показать всѣ сплетенія, всѣ слагаемыя самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ комбинацій, заглянуть во всѣ уголки человѣческаго существованія добросовѣстно ихъ прослѣдить, чтобы подтвердить свой выводъ о невозможности достигнуть радости и полноты бытія.

Внѣшнія блага жизни, отсутствіе которыхъ, какъ иногда кажется, является единственнымъ препятствіемъ къ счастью, этого счастья дать не могутъ. Богатая и красивая дѣвушка, дочь фабриканта, имѣющая возможность независимо располагать своимъ многомилліоннымъ состояніемъ, совершенно свободная, цвѣтущая здоровьемъ, жизнерадостная отъ природы, не можетъ найти счастья именно отъ своего богатства. Она видитъ, что одни съ ней неискренни и льстивы, потому что ищутъ отъ нея только денегъ, другіе сдержанны и отдаляются отъ нея изъ за этихъ



же самых денег. Она не может понять, гдѣ правда и гдѣ ложь въ отношеніяхъ къ ней окружающихъ ее людей: туманъ поднимается отъ ея богатства и застилаетъ собою все — всѣ пути даже къ самому простому и обыденному маленькому счастью, такому доступному для всякой дѣвушки, надъ которой не тяготѣетъ это проклятіе милліоновъ. Другая богатая и тоже свободная женщина несчастна, потому что всю жизнь безнадежно любить неудачника, разорившагося князька, „который не хотѣлъ покривить душой“ и не женился на ней. А князь такъ же въ теченіе всей жизни страдаетъ отъ бѣдности и отъ честности, ненужной одинаково ни ему, ни любящей его женщинѣ. Этотъ рассказъ Чехова носить знаменательное названіе — „Пустой случай“, точно авторъ съ одной стороны какъ будто извиняется передъ читателемъ за то, что остановилъ его вниманіе на нестоющемъ фактѣ, никому неинтересной жизни неинтересныхъ людей, съ другой — онъ утверждаетъ печальную истину повсемѣстныхъ и самыхъ разнообразныхъ человѣческихъ страданій, причиной которыхъ почти всегда бываютъ именно „пустые случаи“ какихъ-то нечаянныхъ совпаденій или несовпаденій, зависящихъ не отъ чьей-то разумной воли, а отъ слѣпой, механически движущей нами судьбы.

Вмѣсто счастья, человѣку доступно только ложное благополучіе тупого самодовольства, въ которомъ онъ опускается почти что до животнаго состоянія, доходить до совершеннаго духовнаго обнищанія.

Изображая опустошенную личность — то, что Гоголь называлъ „пошlostью пошлаго человѣка“, Чеховъ всегда смягчаетъ ужасъ человѣческаго паденія жалостливостію своего юмора. Юморъ Чехова, какъ и юморъ Гоголя, лишь на поверхности блещетъ смѣхомъ. И у того и у другого смѣхъ горькій — это типичная русская черта. Но Гоголь въ юморѣ

своемъ часто уничтожаетъ человѣка, почти что „предаетъ его сатанѣ“, тогда какъ Чеховъ передъ лицомъ самой непроходимой пошлости все же никогда не забываетъ, что человѣкъ есть образъ Божій, хотя бы и изувѣченный и искаженный до неузнаваемости.

И несмотря на весь свой исключительный и тончайшій юмористическій талантъ, Чеховъ все же не былъ юмористомъ по содержанію своего творчества (кромѣ раннихъ своихъ произведеній), а скорѣе юмористомъ по манерѣ. Онъ умѣлъ замѣчать въ жизни и уродливое и нелѣпое и смѣшное, но замѣчалъ и отмѣчалъ это лишь попутно. Главной его темой была трагическая судьба человека въ мірѣ.

Религіозно мыслящій Гоголь презиралъ человѣческое ничтожество. Чеховъ всякаго человѣка любилъ сострадательной любовью. И эта любовь утончила его способность воспринимать трагизмъ жизни.

Трагическое у Чехова не похоже на общепринятое чисто классическое содержаніе этого понятія. Его занимаетъ не сильная борьба сильныхъ характеровъ, не катаклизмы неразрѣшимыхъ противорѣчій. Чтобы чувствовать трагедію Чехову совершенно не нужно создавать трагическихъ героевъ въ духѣ Шекспира, ибо человѣческая жизнь сама по себѣ уже есть трагедія, и одиночество человѣческой души трагично.

Жизнь всякаго человѣка, не утонувшаго въ пошломъ самодовольствѣ, трагична, потому что онъ получаетъ эту жизнь помимо своей воли и такъ же помимо своей воли ея лишается. Въ процессѣ жизни человѣкомъ въ значительной степени владѣетъ и распоряжается слѣпая судьба. Съ момента своего появленія на свѣтъ каждый изъ насъ зависитъ отъ той сѣти обстоятельствъ, въ которую насъ выбрасываетъ наше рожденіе задолго до того, когда въ насъ пробудится разумное сознаніе. Но и пробудившись,

наше сознаніе, вооруженное волей, можетъ только спорить съ судьбой, но не въ силахъ побороть ее до конца, не въ силахъ прорвать сѣти, которая насъ окутываетъ. Тонкая почти что невидимая паутина личной судьбы сплетена изъ самыхъ разнообразныхъ и сложно запутанныхъ нитей: здѣсь и среда, и воспитаніе, и наслѣдственность; здѣсь и тысячи „пустыхъ случаевъ“, часто непредвидѣнныхъ и неотвратимыхъ, которые опредѣляютъ жизненный путь человѣка; здѣсь его собственные грѣхи и ошибки, дѣляющіеся за чужіе грѣхи и ошибки, зехлестывающіеся съ ними въ сложные узлы...

Что можетъ сдѣлать наше разумное сознаніе для освобожденія нашей личности отъ паутины судьбы, если оно недостаточно даже для того, чтобы освѣтить ее въ ея цѣломъ?

Мы въ сущности ничего не знаемъ. Нашъ разумъ, подобно карманному электрическому фонарику, бросаетъ колеблющійся лучъ только на одну ступень лѣстницы. Остальное — начало и конецъ, верхъ и низъ — скрыты въ сумракѣ.

Человѣкъ, не задумывающійся надъ судьбой, полный энергіи и способный къ борьбѣ съ ближайшимъ, съ видимымъ, во имя ближайшей и видимой цѣли, уже въ самомъ процессѣ этой борьбы ощущаетъ какое-то пусть даже призрачное удовлетвореніе, обманчивую полноту бытія.

Но тотъ, кто однажды оглянулся на сумракъ судьбы, тотъ уже частично утратилъ и волю къ жизни и волю къ борьбѣ. Неспособный къ борьбѣ, умѣющій только чего-то хотѣть и мечтать о дѣйствиіи, но не дѣйствовать и, въ ожиданіи своихъ будущихъ дѣйствій, покорно движущійся по теченію ежедневнаго существованія — вотъ кто въ глазахъ Чехова является наиболѣе несчастнымъ, а слѣдовательно и наиболѣе трагическимъ существомъ.

Пьесы Чехова, которые многими въ художественномъ отношеніи (и быть можетъ справедливо) расцѣнивались гораздо ниже его повѣстей и рассказовъ, какъ разъ и пытаются выразить трагедію обреченности и трагедію бездѣйственности. Въ нихъ, въ сущности, нѣтъ ни завязки, ни развязки, никакого драматическаго нарастанія. Это — просто куски, вырѣзанные изъ жизни, подобно кускамъ пчелиныхъ сотъ, гдѣ всѣ ячейки совершенно одиноковы и почти въ равной мѣрѣ наполнены „горькимъ медомъ“ чело-вѣческаго бытія.

Въ „Трехъ сестрахъ“, въ „Дядѣ Ванѣ“, въ „Вишневомъ садѣ“ — лучшихъ пьесахъ Чехова — никакихъ особенно глубокихъ и опрокидывающихъ теченіе жизни потрясеній не происходитъ. Все съ начала до конца почти остается на прежнемъ мѣстѣ и въ состояніи прежней неподвижности, кромѣ того, что у Гаева и Раневской продаютъ ихъ имѣнье съ торговъ и они вынуждены переѣхать куда-то изъ родовой усадьбы. Въ послѣднемъ актѣ „Дяди Вани“ дядя и племянница, какъ будто въ подтвержденіе того, что никакой видимой катастрофы въ ихъ существованіи не случилось, послѣ отъѣзда родственниковъ и гостей, усаживаются на свои привычныя мѣста и принимаютъ за свою привычную работу, прерванную временной суматохой чувствъ и отношеній.

Въ „Чайкѣ“ и въ „Ивановѣ“ выстрѣлы самоубійцъ звучатъ надуманно и фальшиво, неумѣстнымъ сценическимъ эффектомъ, совершенно не вяжущимся съ тѣмъ темпомъ жизни и съ тѣмъ качествомъ переживаній, которые умѣетъ и любитъ изображать Чеховъ.

Любовь Маши къ Вершинину и любовь Вершинина къ Машѣ; любовь Астрова и дяди Вани къ Еленѣ Андреевнѣ не та любовь, которая или опусто-

шительной бурей проносится по жизни, или, хотя на время, заливают ее солнечными лучами. Это не болѣе, какъ игра проснувшихся инстинктовъ, которые у „интеллигентныхъ людей“ кое-какъ облечены въ форму соотвѣтственныхъ разсужденій и объясненій, до крайности банальныхъ.

Нельзя пройти мимо того факта, что чеховскіе герои, даже наиболѣе симпатичные, проявляютъ въ области этого чувства какую-то исключительную духовную и душевную бездарность.

Припомнимъ, напримѣръ, въ „Трехъ сестрахъ“ объясненіе Андрея съ Наташей. Сестры ставятъ своего брата очень высоко, считают его тонкимъ, талантливымъ, образованнымъ и даже гостямъ представляютъ его какъ „будущаго профессора“. Онъ не только занятъ наукой, но онъ любитъ музыку и музыкленъ самъ. И вотъ, что онъ говоритъ своей будущей невѣстѣ и женѣ: „О молодость чудная, прекрасная молодость! Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь такъ! Вѣрьте мнѣ, вѣрьте... Мнѣ такъ хорошо, душа полна любви, восторга... О, насъ не видятъ! Не видятъ! За что, за что я полюбилъ васъ, когда полюбилъ — о, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой! Я васъ люблю, люблю... какъ никого, никогда... (поцѣлуй).“

А чѣмъ лучше та сцена, гдѣ влюбленный въ Машу Вершининъ напѣваетъ арію изъ „Евгенія Онѣгина“ — „любви всѣ возрасты покорны“, или сцена объясненія доктора Астрова съ Еленой Андреевной въ III актѣ „Дяди Вани“, точно нарочно цѣликомъ выписанная изъ какого-нибудь плохенькаго романа...

Въ этой области жизни Чеховъ-художникъ не смогъ подняться выше самого себя. Самъ онъ никогда не испыталъ большого чувства. Былъ ли онъ по природѣ своей къ нему неспособенъ или мѣщан-

ская среда наложила на него свою печать — трудно рѣшить. Въ одномъ изъ своихъ откровенныхъ писемъ къ Суворину онъ признается: „тайны любви я позналъ тринадцати лѣтъ“. Вѣроятно, это познаніе „тайнъ любви“ въ какомъ-нибудь нечистомъ закоулкѣ приморскаго городка, въ компаніи товарищей-гимназистовъ, бравировавшихъ своей искушенностью въ порокахъ и мальчишескимъ цинизмомъ (что было въ духѣ русской мужской молодежи того времени) и наложило на него свою опустошающую печать. Во всякомъ случаѣ трудно себѣ представить нѣчто болѣе скучное, даже неостроумное какъ письма Чехова къ его женѣ, знаменитой русской артисткѣ, женщинѣ рѣдкаго дарованія, вкуса и ума, на которой онъ женился по любви незадолго до своей смерти.

Но, если даже любовь не захватываетъ всего существа чеховскихъ героевъ, не облагораживаетъ ихъ никакъ и ни въ чемъ, не даетъ имъ ни малѣйшаго толчка къ какому бы то ни было творчеству (если не считать выхода въ отставку изъ военной службы барона Тузенбаха, который собирается, послѣ женитьбы на Иринѣ, ѣхать съ нею куда-то работать), то чѣмъ въ сущности они живутъ? У нихъ нѣтъ радостнаго труда, нѣтъ борьбы. За то все ихъ существованіе наполнено непрерывнымъ томленіемъ. Дядя Ваня томится оттого, что жизнь у него прошла въ суетѣ и вознѣ съ неинтереснымъ для него сельскимъ хозяйствомъ и въ заботѣ доставлять деньги съ имѣнья тупому и самовлюбленному профессору; Соня, его племянница, томится отъ того же сѣраго однообразія деревенской жизни и еще, какъ кажется ей, отъ любви къ доктору Астрову. Полковникъ Вершининъ — отъ неудачной семейной жизни и отъ постоянного перекочевыванія съ мѣста на мѣсто со своей батареей; Маша, одна изъ сестеръ — оттого что ея мужъ оказался глупымъ и скучнымъ; Ирина

сначала оттого что она, не любя барона Тузенбаха, соглашается выйти за него замужъ, а затѣмъ потому что нелюбимаго Тузенбаха убиваютъ на дуэли. Ольга томится за своихъ сестеръ, за неудачный бракъ брата Андрея, томится за себя, потому что ее ничуть не интересуютъ обязанности начальницы гимназіи, а всѣ три сестры вмѣстѣ, съ начала и до конца пьесы, жалуются на то, что никакъ не могутъ изъ провинціи, гдѣ въ сущности и прошла важнѣйшая часть ихъ жизни, переѣхать въ издали любимую и притягательную Москву.

Во всѣхъ пьесахъ Чехова ни одной сколько-нибудь яркой фигуры, ни одного сильнаго движенія. Читать эти пьесы иной разъ просто скучно. Но въ чемъ тогда ихъ трагизмъ и ихъ значеніе?

Главное невидимо дѣйствующее лицо въ чеховскихъ пьесахъ, какъ и во многихъ другихъ его произведеніяхъ, — безпощадно уходящее время. Не только въ каждомъ дѣйствіи, но почти въ каждой сценѣ какъ будто слышится бой часовъ и каждый ударъ ихъ говоритъ о томъ, что жизнь уходитъ, унося съ собою несбывшіяся мечты, неосуществимыя надежды, что остатокъ жизни, становясь все тѣснѣе и тѣснѣе, превращается постепенно изъ свѣтлой большой залы въ темный чуланчикъ, гдѣ только одна дверь послѣдняя — смерть и конецъ всему. Чеховскіе герои не только не творцы жизни, но даже и не дѣйствующія лица въ ней, а скорѣе тоскующіе зрители или статисты, которые, повинаясь не своей, а чьей-то чужой волѣ, передвигаются по закоулкамъ жизненной сцены всегда покорные и раздавленные этой своей покорностью.

Да и что такое жизнь, каково въ ней назначеніе человѣка, каковы его задачи?

Если поставить этотъ вопросъ передъ любымъ изъ чеховскихъ героевъ, то онъ отвѣтитъ, что это какая-то

тайнственная рѣка, протекающая мимо него, на которую онъ никакъ не можетъ спустить свой собственный челнокъ. У всякаго изъ чеховскихъ героевъ есть два представленія о жизни. Одно о жизни вообще, представленіе мечтательно расплывчатое, романтическое, какъ у „рыцаря бѣднаго“ о „прекрасной дамѣ“, которая его никогда не полюбитъ. Другое — о своей собственной жизни. Эта своя жизнь есть тоска объ уходящемъ времени, большею частью тканъ воспоминаній, мучительное ощущеніе беспомощности и пустоты. Сегоднешняго дня нѣтъ ни у одного изъ нихъ. Сегоднешній день всегда только поздній вечеръ съ безплодной усталостью и грустно-задумчивыми разговорами о прошломъ и о будущемъ.

Кажется, что ни одинъ изъ героевъ Чехова ничего не дѣлаетъ, ничѣмъ не занятъ, что у него нѣтъ абсолютно никакой работы сколько нибудь, интересующей его, или по крайней мѣрѣ отвлекающей отъ скуки. Профессія каждаго изъ нихъ — случайный принудительный урокъ, исполняемый не по выбору, а по слѣпому жребію.

Докторъ Чебутыкинъ самъ не знаетъ, почему онъ сталъ врачомъ. Онъ даже забылъ то, чему учился. Вмѣсто опыта и познаній, съ годами онъ пріобрѣлъ только отвращеніе къ медицинѣ и самъ признается, что „уморилъ“ ту женщину, которую лѣчилъ.

„Думаютъ, что я докторъ, умѣю лѣчить всякія болѣзни, а я не знаю рѣшительно ничего, все позабылъ, что зналъ, ничего не помню, рѣшительно ничего... Ничего. Можетъ быть, я и не человѣкъ, а только вотъ дѣлаю видъ, что у меня руки, и ноги, и голова; можетъ быть, я и не существую вовсе, а только кажется мнѣ, что я хожу, ѣмъ, сплю.“

Полковникъ Вершининъ, какъ и Тузенбахъ и другіе, тоже никогда не задумывался надъ тѣмъ, для чего онъ сталъ артиллерійскимъ офицеромъ. Военная



служба, маневры, передвиженія изъ города въ городъ никому изъ нихъ не нужны, какъ не нужна Андрею Прозорову постылая служба въ земской управѣ. Самъ Андрей, безхарактерный, опустившійся, проигрывающій въ карты послѣднее достояніе своихъ сестеръ, подчинившійся грубой, вульгарной и обманывающей его женѣ, уже просто боится оглянуться на свою жизнь. Андрей и его сестры, конечно, глубоко увѣрены въ томъ, что единственная причина его неудачъ и обреченности на пошлое и постыдное существованіе заключается въ томъ, что семья Прозоровыхъ такъ и не выѣхала изъ губернскаго города въ Москву. Служба Ирины, какъ и педагогическая работа Ольги одинаково не даютъ удовлетворенія ни той, ни другой. Трудъ двухъ сестеръ оказывается такимъ же скучнымъ и безсодержательнымъ, какъ абсолютная праздность третьей сестры, Маши. И никто не сопротивляется своей судьбѣ, никто не дѣлаетъ малѣйшаго движенія, чтобы ее измѣнить.

„Днемъ и ночью, точно домовой, душитъ меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлаго нѣтъ, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелѣпости,“ говоритъ Войницкій („Дядя Ваня“).

„Я сталъ чудакомъ, нянька. . . Поглупѣлъ-то я еще не поглупѣлъ, Богъ милостивъ, мозги на своемъ мѣстѣ, но чувства какъ-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мнѣ не нужно, никого я не люблю. . .“ — жалуется Астровъ старой нянѣ. И онъ же говоритъ Сонѣ: „. . . Мое время уже ушло, поздно мнѣ. . . Постарѣлъ, заработался, испошлился, притупились всѣ чувства, и, кажется я уже не могъ бы привязаться къ человѣку. Я никого не люблю и . . . уже не люблю. Что меня еще захватываетъ, такъ это красота. Не равнодушенъ я къ ней. Мнѣ кажется, что если бы вотъ Елена

Андреевна захотѣла, то могла бы вскружить мнѣ голову въ одинъ день... Но вѣдь это не любовь, не привязанность..."

Женская красота, которая можетъ „вскружить голову въ одинъ день“ — вотъ то единственное, что вызываетъ волненіе на поверхности жизни чеховскихъ героевъ, заставляетъ ихъ расплывчато мечтать о счастьѣ, котораго не было, какъ имъ кажется, только потому, что что-то постороннее помѣшало имъ во-время сдѣлать нужный шагъ и поймать это счастье. Дядѣ Ванѣ кажется, что если бы онъ десять лѣтъ назадъ женился на Еленѣ Андреевнѣ, то его жизнь была теперь совсѣмъ иная, полная и содержательная. Но, воображая себѣ эту жизнь, онъ ничего другого не можетъ себѣ представить, кромѣ близости съ женщиной „вскружившей ему голову“ : „...Теперь бы мы оба проснулись отъ грозы, она испугалась бы грома, а я бы держалъ ее въ своихъ объятіяхъ и шепталъ: „Не бойся, я здѣсь.“ „О, чудныя мысли, какъ хорошо, я даже смѣюсь...“

Соединеніе по любви, неудавшееся ни дядѣ Ванѣ, ни Чебутыкину, ни Тузенбаху, ни Ольгѣ, ни Иринѣ, удается Андрею Прозорову и его сестрѣ Машѣ. Но оба они не разглядѣли, съ кѣмъ соединяются, оттого затосковала Маша и влюбилась въ Вершинина, а Андрей скатился на дно самаго пошлаго быта. Но вотъ другому герою, Иванову выпадаетъ на долю бракъ съ женщиной, о которой онъ говоритъ, даже послѣ того, какъ разлюбилъ ее: „Анюта замѣчательная, необыкновенная женщина... Ради меня она перемѣнила вѣру, бросила отца и мать, ушла отъ богатства, и, если бы я потребовалъ еще сотню жертвъ, она принесла бы ихъ, не моргнувъ глазомъ.“ Однако, оказывается, что и жизнь съ „замѣчательной женщиной“ ничего не дала Иванову. Онъ разлюбилъ ее, измѣнялъ ей, запутался во лжи. Разлюбилъ, ко-

нечно, потому что не зналъ никакой иной любви, кромѣ той, которая толкнула Андрея къ Наташѣ, Дядя Ваня влечетъ къ Еленѣ Андреевнѣ, Астрова заставляетъ умолять ту же Елену Андреевну разрѣшить ему „поцѣловать ея ароматные волосы“.

Съ перваго взгляда кажется даже удивительнымъ, что всѣ эти интеллигентные люди, цѣлые дни занятые анализомъ самихъ себя и своихъ окружающихъ, разсуждающіе о смыслѣ жизни и о будущемъ человѣчества черезъ „двѣсти-триста, наконецъ, тысячу лѣтъ“, никакъ не могутъ заглянуть поглубже въ самихъ себя, и понять, что ихъ собственныя чувства поверхностны, раздуты отъ бездѣлья, отъ распущенныхъ нервовъ, отъ отсутствія самообладанія и внутренней силы. Чеховскихъ героевъ можно было бы назвать неврастениками и на этомъ покончить. Но такое опредѣленіе было бы очень одностороннимъ, указывающимъ фактъ безъ причины. Вершининами, Тузенбахами, Войницкими, была наполнена русская интеллигенція и, быть можетъ, наиболѣе духовно чуткая ея часть. Она была недовольна окружающимъ, недовольна собой; недовольство свое приписывала общимъ условіямъ русской жизни, конечно, въ первую голову нашей „отсталости“, ждала исцѣленія отъ грядущаго „прогресса“, при чемъ съ одной стороны не знала, какъ этотъ „прогрессъ“ приблизить, какія и въ чемъ приложить для того усилія (кромѣ критики существующаго порядка жизни), а съ другой — мучительно тосковала отъ внутренняго сознанія, что дожидаться „новой счастливой жизни“ придется слишкомъ долго и что это общее счастье далеко не будетъ еще обозначать счастья каждаго въ отдѣльности, ибо оно никакъ не разрѣшитъ и не устранитъ трагической проблемы человѣческой личности внутри ея самой. — Когда Вершининъ говоритъ о „новой счастливой жизни“, „участвовать“

въ которой „мы не будемъ, конечно, но для которой мы живемъ ... теперь и страдаемъ“, дабы счастье стало „удѣломъ нашихъ далекихъ потомковъ“, Тузенбахъ какъ разъ и указываетъ на неразрѣшимость проблемы личной судьбы человѣка: „Послѣ насъ будутъ летать на воздушныхъ шарахъ, измѣнятся пиджаки, откроютъ, можетъ быть, шестое чувство и разовьютъ его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайнъ... И черезъ тысячу лѣтъ человѣкъ будетъ такъ же вздыхать: „ахъ тяжело жить“ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, точно такъ же, какъ теперь, онъ будетъ *бояться и не хотѣть смерти*<sup>1)</sup>)...“ „И черезъ миллионы лѣтъ жизнь останется такою же какъ и была; она не мѣняется, остается постоянною, слѣдуя своимъ законамъ..., *которыхъ вы никогда не узнаете*“<sup>2)</sup>).

Русская критика, разбирая Чехова, прошла мимо этой философіи его героевъ. Она казалась незначительной и ничего не выражающей собою, кромѣ общерусской склонности къ разсужденіямъ на отвлеченныхъ темахъ. Но при внимательномъ чтеніи Чехова не трудно замѣтить, что не только праздные и скучающіе офицеры въ „Трехъ сестрахъ“, но буквально всѣ персонажи Чехова, которые не запаковали себя въ „футляры“ ежедневныхъ заботъ, мелкаго тщеславія и узко матеріальныхъ интересовъ — всѣ они страдаютъ отъ неразрѣшимости самаго важнаго и главнаго для человѣка вопроса, — вопроса о смыслѣ человѣческаго бытія, о смыслѣ жизни вообще.

Тамъ, гдѣ сами дѣйствующія лица пьесъ, разсказовъ и повѣстей Чехова этого вопроса прямо не ставятъ, его ставитъ авторъ и передъ собою и передъ читателемъ. Не вдаваясь ни въ какія разсуж-

---

1) Курсивъ нашъ.

2) Курсивъ нашъ.

денія, тономъ и содержаніемъ своихъ произведеній Чеховъ подводитъ человѣческую мысль и человѣческое сердце къ тоскливой мысли о неразрѣшимомъ. Для него проблема неразрѣшимаго гораздо важнѣе всего остального на свѣтѣ — важнѣе „прогресса“, „блага человѣчества“ и всѣхъ достижений цивилизации. Но такъ какъ онъ глубоко убѣжденъ, что неразрѣшимое всегда будетъ стоять передъ нами плотной и непроницаемой стѣной, то онъ думаетъ о томъ, что данное намъ ограниченное и временное наше существованіе все же слѣдуетъ использовать хотя бы для усиленнаго облегченія участи людей, прежде всего ближнихъ нашихъ, а потомъ и тѣхъ, которые „черезъ двѣсти, триста, наконецъ, тысячу лѣтъ“, придутъ намъ на смѣну.

Устраивая больницы, лѣча въ Мелиховѣ мужиковъ, помогая голодающимъ, самъ Чеховъ дѣлалъ все это очень охотно, движимый искреннимъ состраданіемъ къ людямъ, но безъ всякаго пафоса и главное безъ всякой переоцѣнки подобнаго рода дѣятельности. Совершенно такъ же, какъ докторъ Астровъ, работающій не покладая рукъ въ должности земскаго врача и сажающій лѣса, потому что это его занимаетъ и кому то со временемъ будетъ нужно, Чеховъ исполнялъ то, что приходилось исполнять, но никакъ не могъ чувствовать себя отъ этого счастливымъ, обрѣтшимъ смыслъ жизни... Двадцать, пятьдесятъ, сто принятыхъ и осмотрѣнныхъ, даже вылѣченныхъ въ больницѣ мужиковъ, нѣсколько бессонныхъ ночей, каторжное утомленіе отъ ѣзды по сквернымъ осеннимъ проселочнымъ дорогамъ — все это обычное дѣло Астрова, которое онъ выполняетъ не только добросовѣстно, но даже талантливо, совсѣмъ не производитъ впечатлѣнія дѣятельности, скольконибудь осмысливающей его жизнь какимъ-то содержаніемъ, а кажется только способомъ убить ненужное время.

Трудъ безрадостенъ, трудъ всякаго думающаго человѣка. Думающій человѣкъ знаетъ, что трудъ не погасить никогда въ его душѣ тревожной мысли о главномъ и неразрѣшимомъ. Чеховскіе герои никогда не бываютъ поглощены своимъ трудомъ. Оттого Астровъ съ перваго взгляда производитъ впечатлѣніе человѣка такого же празднаго, какъ и Чебутыкинъ, который въ медицинѣ „все забылъ“; до утомленія работающая Ольга тоскуетъ ничуть не меньше ничѣмъ не занятой Маши. И читателю Чехова не придетъ въ голову проводить какую-нибудь различающую линію между работающими и не работающими его героями, однихъ считать „полезными“ для жизни, а другихъ, „безполезными“. Не можетъ быть и вопроса о какой-либо утилитарной оцѣнкѣ тамъ, гдѣ на первомъ планѣ стоитъ проблема личности и ея судьбы, личности въ существѣ своемъ абсолютно одинокой, внутренне отъ всѣхъ и отъ всего оторванной и лишь въ механическомъ спѣвленіи съ другими, ей подобными, образующей нѣчто множественное — человѣческое общество.

Общество, какъ таковое, его заданія, его творческія усилія — для Чехова вопросъ второстепенный, котораго онъ никогда не ставилъ во всякомъ случаѣ на первомъ планѣ. Да и могъ ли онъ думать о суммѣ, когда его больше всего не только интересовала, но тревожила и мучала участь каждой, составляющей эту сумму единицы?

Для чего живетъ и страдаетъ человѣкъ?

Благополучіемъ будущихъ поколѣній его страданія не утоляются и не оправдываются. Не оправдываются тѣмъ болѣе, что и черезъ тысячу лѣтъ проблема смысла жизни останется неразрѣшимой, слѣдовательно и само это благополучіе можетъ стать только чисто внѣшнимъ, а потому весьма сомнительнымъ.

Жизнь непонятна. Жизнь страшна. Но не меньше страшна и смерть. Жизнь не оправдывается смертью. Мучительная томительность времени не облегчается, а лишь усугубляется ожиданием конца.

Передъ этой трагедіей человѣка все остальное не важно. Докторъ Чебутыкинъ ничего не дѣлаетъ и пьетъ. Профессоръ Серебряковъ „ровно двадцать пять лѣтъ читаетъ и пишетъ объ искусствѣ“: Чебутыкинъ „не прочелъ ни одной медицинской книги“, Серебряковъ „добился ученыхъ степеней и кафедры“. Но Чебутыкинъ и автору и читателямъ во много разъ симпатичнѣе Серебрякова. Дядя Ваня называетъ Серебрякова „старымъ сухаремъ“, „ученой воблой“ не столько изъ чувства ревности, вызваннаго увлечениемъ женой Серебрякова, Еленой Андреевной, сколько потому что Серебряковъ не знаетъ и не зналъ никогда никакихъ внутреннихъ тревогъ, не терзался мучительными вопросами. Онъ бездаренъ и потому доволенъ самимъ собой и своею жизнью. „Вѣчно жалуется на свои несчастія“, — говоритъ о немъ съ негодованіемъ дядя Ваня, — „хотя въ сущности необыкновенно счастливъ“.

Серебряковъ счастливъ, потому что цѣль и смыслъ бытія онъ видитъ въ томъ, что онъ дѣлалъ и писалъ прежде, что дѣлаетъ и пишетъ теперь. Его никогда не тяготило время, не пугала мысль о концѣ, объ обреченности человѣка. Онъ наполнялъ свое время своими занятіями, своими книгами, своею ученой карьерой, и тотъ фактъ, что эти занятія и эта карьера были для него самымъ перво-степеннымъ и важнымъ въ жизни, ставитъ Серебрякова въ категорію людей въ какомъ то отношеніи болѣе низкую, чѣмъ та, къ которой принадлежитъ пьяница Чебутыкинъ. Мы охотно вѣримъ дядѣ Ванѣ, что Серебряковъ бездаренъ и „двадцать пять лѣтъ переливаетъ изъ пустого въ порожнее“... И

не потому что онъ эгоистиченъ до полного пренебреженія къ близкимъ, до самой черной къ нимъ неблагодарности, а потому что его души ни разу не коснулась та тревога бытія, тревога высшаго порядка, которую испытываютъ самые близкіе Чехову его герои, какъ бы примитивно они ее не выражали.

Уже одно то, что Серебряковъ можетъ быть счастливъ, когда жизнь каждаго мало-мальски думающаго человѣка есть неразрѣшимая трагедія, ставить его ниже страдающаго старика Чебутыкина.

Какъ неумѣстны улыбающіяся лица на похоронахъ, такъ неумѣстно длительное довольство и удовлетвореніе въ этой жизни, гдѣ все полно печали, гдѣ рожденіе и смерть человѣка никогда не будутъ разгаданы, гдѣ даже дѣти порой переживаютъ такіа горькіа чувства, „которымъ нѣтъ названія на дѣтскомъ языкѣ“ („Житейская мелочь“). Довольство и удовлетвореніе, ни въ какой мѣрѣ не задытѣа болью человѣческой обреченности, всегда будутъ самодовольствомъ и самоудовлетвореніемъ, то есть тѣми именно качествами, которыа ограничивають нашъ внутренній міръ, лишая его какой-то необходимой полноты и именно полноты, добываемой изъ горькой чаши соознанія.

Печаль Чехова и его героевъ — печаль библейскаго Екклезіаста — самой печальной книги въ мірѣ: „Что пользы человѣку отъ всѣхъ трудовъ его, которыми онъ трудится подъ солнцемъ?“ „... не можетъ человѣкъ пересказать всего; не насытится око зрѣніемъ; не наполнится ухо слушаніемъ. Что было, то будетъ; и что дѣлалось, то и будетъ дѣлаться, и нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ“. „Нѣтъ памяти о прежнемъ; да и о томъ, что будетъ не останется памяти у тѣхъ, которые будутъ послѣ“.

Не о томъ ли же говоритъ и Тузенбахъ, увѣренный, что „и черезъ миллионъ лѣтъ жизнь оста-



нется такую, какъ и была“. Не о томъ ли говорить и самъ Чеховъ въ разсказѣ „Дама съ собачкой“, описывая „грустное счастье“ двухъ любящихъ другъ друга людей, встрѣчающихъ разсвѣтъ среди южной природы Крыма:

„Въ Ореандѣ сидѣли на скамьѣ, не далеко отъ „церкви, смотрѣли внизъ на море и молчали. Ялта „была едва видна сквозь утренній туманъ, на вершинахъ горъ неподвижно стояли бѣлыя облака. Листва „не шевелилась на деревьяхъ кричали цикады и однообразный глухой шумъ моря, доносившійся снизу, „говорилъ о покоѣ, о вѣчномъ снѣ, какой ожидаетъ „насъ. *Такъ шумѣло внизу, когда тутъ не было еще „ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумитъ и будетъ „шумѣть такъ же равнодушно и глухо, когда насъ не „будетъ.* 1)“

„Пройдетъ время, и мы уѣдемъ на-вѣки, насъ забудутъ, забудутъ наши лица, голоса и сколько насъ было...“ говоритъ Ольга въ заключительной сценѣ послѣдняго акта „Трехъ сестеръ“.

Смерть, забвеніе исчезающаго изъ жизни человека, который поглощается безконечностью уходящаго времени, какъ капля дождя океаномъ, — постоянная мысль Чехова, не покидающая его никогда.

## II.

**Исканіе смысла бытія. Русская интеллигенція у Чехова.**  
**„Лишніе люди“. Духовная пустота жизни.**

Казалось бы, Чеховъ долженъ былъ стать мрачнымъ пессимистомъ, озлобленнымъ циникомъ, принимающимъ жизнь, какъ проклятіе. Но у него нѣтъ

---

1) Курсивъ нашъ.

ни озлобленія, ни желчности, нѣтъ и мрака. Если его разсудочное „я“ не припимаетъ религіи, вѣрнѣе говоря опредѣленнаго вѣроисповѣданія, то глубиною сердца, подсознательною силою творческой своей личности онъ ощущаетъ въ бытіи міра непостижимый намъ вѣчный смыслъ, недоступныя и непонятныя человѣческому сознанію высшія цѣли. вмѣсто протеста противъ безсмыслицы жизни, или самоувѣреннаго убѣжденія, что человѣкъ, „царь природы“, въ концѣ концовъ побѣдитъ ея законы и перестроитъ міръ по своему, мы находимъ у Чехова тихую и покорную примиренность передъ непостижимымъ, которую онъ по разному выражаетъ, въ зависимости оттого, насколько въ каждый данный моментъ „сокровенный сердца человѣкъ“ въ немъ находитъ силы освободиться отъ гнета разсудочнаго міровозрѣнія и подняться надъ уровнемъ порабащающихъ идей своего времени. Въ этомъ же разсказѣ („Дама съ собачкой“), говоря о томъ, какъ „море будетъ шумѣть такъ же равнодушно и глухо, когда насъ не будетъ“, онъ прибавляетъ: „И въ этомъ постоянствѣ, въ полномъ равнодушіи къ жизни и къ смерти, „каждаго изъ насъ, кроется, быть можетъ, залогъ „нашего вѣчнаго спасенія, непрерывнаго движенія „жизни на землѣ, непрерывнаго совершенства. Сидя „рядомъ съ молодой женщиной, которая на разсвѣтѣ „казалась такой красивой, успокоенный и очарованный въ виду этой сказочной обстановки — моря, „горъ, облаковъ, широкаго неба — Гуровъ думалъ „о томъ, какъ въ сущности, если вдуматься, все „прекрасно на этомъ свѣтѣ, все, кромѣ того, что мы „сами мыслимъ и дѣлаемъ, когда забываемъ о высшихъ цѣляхъ бытія, о своемъ человѣческомъ достоинствѣ.“

Въ послѣдней сценѣ „Трехъ сестеръ“ безвыходность и боль обманувшей всѣхъ жизни разрѣшается

скорбной примиренностью во имя любви къ людямъ, во имя надежды и вѣры въ оправданность человѣческихъ страданій высшими цѣлями бытія: „ . . . . но страданія наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ“, заключаетъ Ольга свой печальный монологъ, „счастье и миръ настанутъ на „землѣ, и помянутъ добрымъ словомъ и благословятъ тѣхъ, кто живетъ теперь. О милыя сестры, „жизнь наша еще не кончена. Будемъ жить! Музыка „играетъ такъ весело, такъ радостно и, кажется, еще „немного, и мы узнаемъ, зачѣмъ мы живемъ, зачѣмъ „страдаемъ . . . . Если бы знать, если бы знать!“

Нужна жизнь, нужно страданіе, нужно самопожертвованіе. Силою самопожертвованія и любви осмысливается и оправдывается горечь человѣческаго существованія. И потому Ирина говоритъ сестрѣ: „Завтра я поѣду одна, буду учить въ школѣ и всю свою жизнь отдамъ тѣмъ, кому она, быть можетъ, нужна“.

Трагедія жизни и смерти, трагедія безпомощности отъ безплодныхъ усилій овладѣть уходящимъ временемъ и достигнуть личнаго счастья, полноты личнаго удовлетворенія приводитъ у Чехова не къ отчаянію, но къ смиренію.

Однако любовь къ людямъ, готовность къ жертвѣ, хотя просвѣтляютъ душу, но все же не даютъ ей полного мира. Примиренность и миръ не одно и то же. Миръ есть радость ясности и полноты; примиренность — лишь скорбное успокоеніе, вынужденное пріятіе неполноты. Полноты нѣтъ именно отъ того, о чемъ твердитъ больше всего Ольга, о чемъ еще раньше говоритъ Тузенбахъ, о чемъ съ болью говорятъ многіе герои Чехова: высшія цѣли бытія не осмыслены, не указаны, а безъ нихъ и любовь къ людямъ и самопожертвованіе только палліативы только средство заглушить тоску.

Человѣкъ не можетъ жить только для себѣ подобныхъ. Никакое будущее людей, какъ бы оно не было прекрасно, не можетъ утолить страданій и томленій личности. Въ служеніи людямъ заключается высокій смыслъ, но не высшій. И „счастье и миръ на землѣ“, о которыхъ говоритъ Ирина, ради которыхъ она хочетъ отдать свою жизнь „тѣмъ, кому она, можетъ быть, нужна“ ей самой не могутъ дать ни „счастья, ни мира“.

„Если бы знать!“ восклицаетъ Ольга. „Придеть время, всѣ узнаютъ зачѣмъ это“ — говоритъ Ирина.

Незнаніе, „высшихъ цѣлей“ мучаетъ и опустошаетъ душу. Слушая послѣдній разговоръ сестеръ и ихъ призывъ къ труду и самопожертвованію, мы чувствуемъ, что прекрасныя слова и самые искренніе порывы не помогутъ имъ донести до конца свой крестъ, взятый во имя любви только къ людямъ. Мы почти видимъ и Ольгу и Ирину, послѣ того какъ упадетъ занавѣсъ и потускнѣетъ въ нихъ тотъ подъемъ духа, который, какъ противоядіе, приходитъ на помощь человѣку въ минуты борьбы съ обрушившимся на него горемъ: печальныя, поникшія, пришибленныя, онѣ пойдутъ каждая по своей тропинкѣ. Безрадостное исполненіе безрадостнаго долга будетъ для нихъ тяжелой ношей, пригибающей къ землѣ, ибо любовь къ людямъ есть только вторая заповѣдь Божія, неисполнимая до конца и почти бессмысленная безъ первой.

„Возлюби Господа Бога Твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ . . .“ — вотъ чего не знаютъ обѣ эти дѣвушки, чего не знаютъ ни Тузенбахъ, ни Вершининъ, никто почти изъ этихъ мягкихъ, благожелательныхъ и благородныхъ чеховскихъ героевъ, которые страдаютъ отъ того, что не могутъ существовать, не пытаясь

осмыслить своего существованія, а въ поискахъ смысла не умѣютъ подняться выше земли.

Причину ихъ томленія, сама, можетъ быть, того не подозревая, до конца опредѣляетъ третья сестра Маша, кажущаяся, какъ будто, болѣе ограниченной, нежели ея сестры, но за то и болѣе непосредственной.

Когда Тузенбахъ говоритъ, утверждая „дурную безконечность“ жизни и движенія въ мірѣ, и сравниваетъ людей съ птицами, которыя „летятъ и будутъ летѣть, какіе бы философы не завелись среди нихъ...“ Маша останавливаетъ Тузенбаха вопросомъ:

— Все таки смыслъ?

„— Смыслъ...“ отвѣчаетъ Тузенбахъ. — „Вотъ „свѣтъ идетъ. Какой смыслъ?“

„Мнѣ кажется, человѣкъ долженъ быть вѣрующимъ, или долженъ искать вѣры, иначе жизнь его „пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли „летятъ для чего дѣти рождаются, для чего звѣзды на „небѣ... Или знать, для чего живешь, или же все „пустяки, тринь — трава...“

Послѣ этихъ словъ Маши у Чехова обозначено: „пауза“. И не случайно: на нихъ никто не отозвался. Ни до чьего сердца они не дошли. И сама Маша произноситъ ихъ такъ, точно она прочла ихъ въ какой-то нечаянно раскрывшейся книгѣ: не изъ глубины убѣжденія и чувства они вырвались у нея, а какъ мелькнувшая мысль. Такъ говорятъ иногда о болѣзни и ея леченіи и кто-нибудь вскользь упоминаетъ: „я слышалъ, что нужно примѣнять такое-то средство“ — и всѣ молчатъ, не обращая вниманія на этотъ совѣтъ.

Вершининъ послѣ паузы восклицаетъ: „Все таки жалко, что молодость прошла...“, а Маша ему отвѣчаетъ: „У Гоголя сказано: скучно жить на этомъ свѣтѣ, господа!“

Весь разговоръ Тузенбаха, Маши, Вершинина не серьезный, то есть незначительный: типичное русское „философствованіе“ на досугъ, но въ немъ опредѣляется основное въ жизни всѣхъ этихъ людей, — русской до революціонной интеллигенціи, — вѣрнѣе говоря отсутствіе основного, отсутствіе корня, стержня бытія, его смысла и полноты. То, о чемъ въ праздничной обстановкѣ именинъ „болтають“ всѣ эти люди, — то самое становится причиной ихъ страданій въ концѣ пьесы: мечты рушились и совершенно уже не на что опереться, ибо уходящее время очевидно ведетъ cadaго не къ разсвѣту, а къ закату.

Для подавляющаго большинства русской интеллигенціи до революціоннаго періода, какъ и вообще для всѣхъ людей внѣрелигіозной культуры и внѣрелигіознаго сознанія, задачи и смыслъ жизни опредѣлялись только двумя измѣреніями: полезной дѣятельностью, способствующей максимальному развитію прогресса, а слѣдовательно, и приближенію „невообразимо прекрасной“ жизни будущаго чело-вѣчества — съ одной стороны, — и возможной полнотой своего личнаго существованія съ другой.

Въ этомъ отношеніи очень характерна тема романа Тургенева „Наканунъ“: болгаринъ Инсаровъ мечтаетъ послужить освобожденію своей родины — въ этомъ смыслъ и содержаніе его общественнаго служенія; онъ любитъ Елену, — въ этомъ смыслъ и содержаніе его личной жизни.

Неудача въ этихъ двухъ направленіяхъ разрушала жизнь чело-вѣка, ставила его внѣ смысла бытія. И въ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ окружающихъ онъ становился ненужнымъ, вычеркнутымъ изъ жизни. Для безрелигіознаго сознанія, не знающаго безотносительной цѣнности личности, чело-вѣкъ, оказавшійся внѣ широкаго теченія жизни, внѣ возможности внѣшняго, утилитарнаго примѣне-

нія своихъ силъ и способностей, становился лишнимъ. Русская литература, задолго до Чехова, опредѣлила и выдѣлила категорію лишнихъ людей.

Лишній человѣкъ прежде всего томится отъ сознанія своей ненужности и обреченности на ненужность. Для него никакого выхода нѣтъ.

Ненужность же является обычно слѣдствіемъ того, что широкіе планы не удались и прекрасныя мечты не оправдались. Если же отъ большого приходится отступить, то малымъ заниматься не стоитъ — это типичная черта русскаго характера.

Ни въ одномъ народѣ не было никогда такого количества образованныхъ неудачниковъ, какъ въ русскомъ народѣ и именно въ средѣ такъ называемой интеллигенціи.

Андрей Прозоровъ, не достигнувъ кафедры университета, вынужденъ служить въ земской управѣ. Служить онъ только для заработка, нисколько не интересуется своимъ дѣломъ, исполняетъ его небрежно, съ нескрываемымъ отвращеніемъ. Онъ считаетъ, что жизнь его безвозвратно загублена; неудачная женитьба еще болѣе утверждаетъ его въ этой мысли, и онъ уже не дѣлаетъ никакихъ усилій, чтобы укрѣпить свое внутреннее существованіе на какихъ-либо цѣнностяхъ: онъ только старается забыться.

Всякій сколько-нибудь одаренный русскій интеллигентъ всегда думалъ мало объ обыденномъ житейскомъ благополучіи; о томъ *bien être*, которое является коренной задачей западнаго человѣка. Отсюда наше всегдашнее стремленіе въ умственные центры: лучше голодать въ столицѣ, нежели благополучно прозябать въ провинціи. Привлекали большія дороги; проселочная презирались. Провинція внушала скуку и отвращеніе. И застряв-

шіе „на проселкахъ“ неизбѣжно опускались: карты, водка... водка, карты... Русская провинція, кромѣ самыхъ оживленныхъ своихъ центровъ, если и была глушью, то въ значительной степени этому способствовало то чувство обреченности, которое приносили съ собою и которымъ пропитывали окружающую ихъ атмосферу интеллигентные неудачники разныхъ категорій.

Чеховъ сумѣлъ къ лишнему человеку подойти глубже, нежели его литературные предшественники. Лишній человекъ Чехова далеко не всегда тотъ, у кого, какъ у Андрея Прозорова, не удалась его личная карьера, который по безхарактерности подпалъ подъ дурное вліяніе своей жены и вынужденъ иногда поступать противно своей совѣсти и своимъ принципамъ. Лишнимъ сознаетъ себя и талантливый врачъ Астровъ и дядя Ваня, болѣе нежели добросовѣстно исполняющій принятія на себя обязанности.

Повышенныя требованія къ человеку, къ его творческимъ силамъ и повышенныя требованія къ содержанію человѣческой жизни вообще — вотъ что увидѣлъ Чеховъ въ основѣ той неудовлетворенности, которая порождаетъ тоску, а иногда и параличъ воли къ дѣйствию у лишнихъ людей.

Русскаго человека можно упрекнуть въ томъ, что онъ слишкомъ легко поддается неврастенію, становится вялъ, инертенъ, неспособенъ къ сопротивленію, что онъ падаетъ духомъ и опускается... Эти упреки вполнѣ заслужены... Но нельзя не признать съ другой стороны, что на извѣстномъ уровнѣ культуры именно русскій человекъ отличается особеннымъ безкорыстіемъ, что интересы духовнаго порядка всегда преобладаютъ у него надъ интересами матеріальными.



Слѣдя за русской жизнью преимущественно по этой линіи, Чеховъ почувствовалъ и ощутилъ, что въ какой-то мѣрѣ и степени всѣ наиболѣе духовно требовательные люди его эпохи, если не всегда, то хотя бы въ отдѣльные моменты своего бытія ощущаютъ себя лишними. Сколько бы не вливали они своихъ силъ въ русло своихъ прямыхъ обязанностей, заботъ, занятій, всегда останется въ ихъ душѣ нѣчто такое, что оказывается неизрасходованнымъ и заявляетъ о своихъ правахъ.

Помѣщикъ Алехинъ даже физически работаетъ такъ, что падаетъ съ ногъ отъ усталости и однако самый напряженный трудъ не можетъ угасить въ его душѣ отвлеченныхъ вопросовъ, внутренне какъ-то приросшихъ къ русскому человѣку. А докторъ Андрей Ефимовичъ Рагинъ настолько углубляется въ область отвлеченнаго мышленія, что совершенно забрасываетъ и медицинскую практику и больницу: задолго до смерти своей онъ умираетъ для всякой внѣшней дѣятельности.

Поверхностному читателю можетъ показаться, что культурная неустроенность русской провинціальной жизни является единственной главной причиной неудовлетворенности и тоски чеховскихъ героев. На самомъ дѣлѣ это не такъ.

Въ рядѣ сложныхъ индивидуальных причинъ неудовлетворенности и тоски у всѣхъ дѣйствующихъ лицъ Чехова выступаетъ одна общая причина: отсутствіе основнаго духовнаго двигателя каждой человѣческой жизни и всѣхъ жизней вмѣстѣ, отсутствіе, высшаго оправданія и высшихъ цѣлей бытія.

Будучи писателемъ человѣческаго сердца по преимуществу, изобразителемъ индивидуальнаго человѣка и его судьбы, не задаваясь никакими выводами и обобщеніями, Чеховъ, какъ никто другой

изъ современныхъ ему авторовъ, въ общей суммѣ своихъ произведеній далъ намъ картину духовнаго кризиса своей эпохи. Наиболѣе чуткіе, а слѣдовательно лучшіе люди у Чехова являются уже утратившими паѳосъ раціоналистическаго идеализма съ его вѣрой въ прогрессъ, въ созданіе прекраснаго и безоблачнаго будущаго для какихъ-то неопредѣленныхъ поколѣній неопредѣленнаго человѣчества.

Поиски счастья въ двухъ только направленіяхъ — полезной дѣятельности и радостей личной жизни — не удовлетворяютъ. Даже при удачѣ, они въ конечномъ итогѣ даютъ только пустоту, какъ у профессора Николая Степановича, который былъ и блестящимъ ученымъ и счастливымъ семьяниномъ въ прошломъ, а передъ лицомъ приближающейся смерти внутренне оказывается обездоленнымъ послѣднаго нищаго.

Всякая жизнь, сколько бы ни была она насыщена усиліями ума, сердца, таланта, раздробляется въ самой основѣ своей настойчивымъ вопросомъ Маши:

„Все таки смыслъ?“

Въ чемъ смыслъ этого *perpetuum mobile* смѣняющихся въ исторіи поколѣній, рожденій и смертей?

Фактъ утвержденія Тузенбахомъ „дурной безконечности“ въ процессѣ одна за другой исчезающихъ человѣческихъ жизней есть уже опредѣленный протестъ противъ безрелигіознаго прогресса и вѣры въ него.

И съ точки зрѣнія этого протеста, выдвигающаго проблему смысла жизни во всемъ ея значеніи, смысла жизни каждой отдѣльной личности, какъ таковой, нѣкоторый эгоцентризмъ чеховскихъ героевъ, вытекающій изъ подсознательно-религіозной тревоги ихъ душъ, заставляетъ насъ оцѣнивать нѣкоторыхъ „лишнихъ людей“ у Чехова иначе, нежели обыкновенныхъ неудачниковъ.

Правда и они какъ-то пытаются принять свой жизненный крестъ, какъ неизбежность, можетъ быть необходимую для будущихъ отдаленныхъ поколѣній но именно только пытаются. Господствующее міровозрѣніе эпохи еще владѣетъ ими въ нѣкоторой степени, но удовлетворенія и силы къ жизни оно не дастъ, это уже инерція, не больше. То же настроеніе мы чувствуемъ и у самого Чехова, который дѣлаетъ постоянныя усилія преодолѣть часто одолевашую его тоску духовной пустоты... Въ этомъ смыслѣ, какъ писатель, онъ для своего времени въ какой-то степени тоже иногда оказывался лишнимъ: его талантъ въ самомъ большомъ и серьезномъ не вызывалъ энтузіазма у читателей, потому что Чеховъ по своему міроощущенію оказывался стоящимъ одиноко въ современной ему толпѣ.

Отказъ идти за массой, плыть по теченію, всегда создаетъ „лишнихъ людей“, если у этихъ отказавшихся нѣтъ достаточной силы для противодѣйствія господствующему направленію.

Со стороны длинныя иногда разсужденія чеховскихъ персонажей о безсмыслицѣ жизни, какъ мы уже говорили выше, могутъ показаться скучными. Вообще типично русское недовольство своей и общечеловѣческой судьбой, склонность къ пессимистическому, часто праздному даже, философствованію едва ли могутъ вызвать къ себѣ сочувствіе, напримѣръ, со стороны западнаго чело-вѣка, гораздо болѣе активнаго нежели мы, русскіе. И насъ могутъ обвинить въ томъ, что наше стремленіе все подвергать анализу, тяготѣтъ къ отвлеченному больше чѣмъ къ реальному, есть лишь результатъ прежней лѣнливой праздности и беззаботности русской жизни.

Въ данномъ случаѣ не приходится ни обвинять,

не оправдывать, а лишь указать на фактъ дѣйстви-  
тельно кореннаго въ какомъ-то отношеніи различія  
между людьми русскаго и западно-европейскаго  
склада натуры.

Чеховъ былъ на рѣдкость русскимъ писа-  
телемъ и русскимъ человѣкомъ.

Русское начало въ немъ выражалось въ орга-  
нически безглювомъ отвращеніи отъ всякой буржуаз-  
ности. Онъ зналъ, что русскій характеръ въ обста-  
новкѣ полнаго буржуазнаго благополучія почти не-  
избѣжно разлагается. И не только русскій мужикъ,  
ставъ зажиточнымъ мѣщаниномъ, непремѣнно мо-  
рально деформируется — или душевно огрубѣетъ  
или иногда просто дѣлается отвратительнымъ по  
алчности, безсердечію, жестокости, — но и русскій  
интеллигентный человѣкъ, достигнувъ полнаго „bien  
être“, или затоскуетъ, какъ затосковалъ молодой учи-  
тель словесности Никитинъ („Учитель словесности“),  
или опопшится, какъ адвокатъ Лысевичъ („Бабье  
царства“), или высохнетъ и зачерствѣетъ, какъ Іонычъ  
(„Іонычъ“).

Даже послѣ совершеннаго преступленія можно  
духовно воскреснуть: тяжкій грѣхъ часто про-  
буждаетъ душу самой силой своего удара. Но изъ  
состоянія духовнаго паралича или летаргіи, вызы-  
ваемыхъ ощущеніемъ благополучія и самодовольства,  
почти невозможно выйти, какъ изъ топкаго болота.  
Мѣщанское „bien être“ липкой тиной затягиваетъ  
умъ и сердце, оно непроницаемо.

У жалостливаго и снисходительнаго ко всякому  
человѣку Чехова есть почти что жестокій и страшный  
по своему смыслу рассказъ „Крыжовникъ“. Въ этомъ  
рассказѣ говорится о человѣкѣ, долго мечтавшемъ  
пріобрѣсти собственный клочекъ земли, чтобы раз-  
вести на немъ собственный крыжовникъ. Годы жизни  
уходятъ на накопленіе денегъ, на упорное достиженіе

маленькой цѣли. И вотъ, наконецъ, она достигнута: и собственная усадьба, и зеленныя ягоды, собранныя со своихъ кустовъ, на лицо. И человѣкъ счастливъ. Счастливъ, потому что ему ничего больше не нужно. Въ этомъ „ничего больше не нужно“ — весь ужасъ искаженной и обезображенной мелочностью человѣческой души. Даже мягкій чеховскій юморъ не смягчаетъ впечатлѣнія отъ разказа...

Мы называемъ разказъ Чехова страшнымъ; мы русскіе... Но покажется ли онъ таковымъ, на примѣръ, среднему французскому читателю, у котораго имѣется такой же собственный „крыжовникъ“? Не вызоветъ ли въ немъ скорѣе недоумѣніе самъ странный русскій авторъ, Чеховъ, которому кажется почти что чудовищнымъ явленіемъ способность человѣка всецѣло отдаваться достиженію маленькой цѣли и ради нея ограничить себя во всемъ?

Если Гюи де Мопассанъ, вѣроятно, понялъ и оцѣнилъ бы разказъ Чехова, то французскій буржуа могъ бы только пожать плечами и сказать: „Что же тутъ смѣшного или дурного? Такъ обязанъ жить каждый: экономить, копить и приобрѣтать. На этихъ трехъ основахъ зиждется благополучіе каждаго отдѣльнаго человѣка и цѣлаго народа“. Западные люди умѣютъ часто совмѣщать культурную жизнь и жажду матеріальнаго благополучія, но мы совсѣмъ этого не умѣемъ.

Для насъ, русскихъ, неприемлемъ владѣлецъ крыжовника, а для средняго уровня западнаго сознанія неприемлемы наши „лишніе люди“, которые не заботятся ни о своей карьерѣ, ни о своемъ матеріальномъ благополучіи, а разсуждаютъ о смыслѣ жизни въ то время какъ у нихъ дома „дымятъ печи“.

Въ буржуазномъ мірѣ, въ буржуазномъ обществѣ немислимы „лишніе люди“ чеховскаго типа. Во всякомъ случаѣ они являются исключеніемъ.

Россія во многихъ отношеніяхъ была и осталась антиподомъ западной Европы.

Въ буржуазной европейской провинціи аккуратно огороженные дома и домики, чистенькіе палисадники и цвѣтники, хорошо мощенныя дороги и ... почти полное отсутствіе „міровой скорби“ и тоски надъ загадкой бытія...

У насъ — часто „невылазныя дороги“, покосившіеся заборы, заросшіе крапивою и чертополохомъ дворы и на этомъ фонѣ Тузенбахи, и Вершинины. Они брезгливо морщатся отъ нашей неустроенности, отъ „дымящихся печей“ и невылазныхъ дорогъ, но не выдираютъ крапивы и чертополоха: имъ не до того; ихъ томить вопросъ о смыслѣ жизни и о томъ, стоитъ ли существовать на свѣтѣ, если „не знать для чего журавли летятъ, для чего дѣти родятся, для чего звѣзды на небѣ“...

Страшна, несомнѣнно страшна, своими мертвящимъ матеріализмомъ духовно тупая буржуазная ограниченность, но въ чемъ-то страшно и наше высокомѣрное пренебреженіе къ разрастанію чертополоха.

Устремленіе къ отвлеченному въ русскомъ характерѣ почти всегда развивается за счетъ воли къ дѣйствию. Чеховъ это зналъ, можетъ быть, болѣе чѣмъ кто-либо другой, ибо онъ съ жуткой безпощадностью сумѣлъ написать жуткую исторію доктора Андрея Ефимовича Рагина („Палата 6“).

Не въ томъ ли отчасти загадка длительности у насъ звѣринаго коммунистическаго режима и какъ будто безграничнаго непротивленія русскаго народа всѣмъ ужасамъ претерпѣваемыхъ имъ мукъ, издѣвательствъ и лишеній, что мы умѣемъ тонко до геніальности анализировать зло, но не умѣемъ съ нимъ бороться?

Во всякомъ случаѣ нельзя не признать, что русскую пассивную покорность судьбѣ Чеховъ сумѣлъ разглядѣть въ самыхъ основахъ русской натуры съ пророческой проницательностью.

Послѣ семнадцати лѣтъ большевистской революціи отъ прежней Россіи камня на камнѣ не осталось, и тѣмъ не менѣе среди обломковъ разгромленной русской интеллигенціи, даже внутри самой Россіи, кое-гдѣ сохранились еще и Тузенбахи и Вершинины. Ихъ внѣшнее бытіе измѣнилось до неузнаваемости, ихъ идейное содержаніе стало инымъ, но ихъ характеръ остался въ существѣ своемъ почти прежнимъ: замученные жизнью, они предпочитаютъ пассивно погибать, нежели сдѣлать какую-либо попытку къ освобожденію и, во всякомъ случаѣ, не такъ уже дешево и легко отдать свою жизнь. Они будутъ умно и глубоко разсуждать о большевизмѣ, о причинахъ его возникновенія въ Россіи, о томъ какъ народъ русскій былъ обманутъ проповѣдью всеобщаго социалистическаго счастья, какъ этотъ народъ страдаетъ и томится теперь и ждетъ кого-то, кто-бы вдохнулъ въ него волю къ сопротивленію ненавистой власти... Но сами они, нынѣшніе Тузенбахи и Вершинины, никогда не смогутъ стать вождями этого народа. И не потому что у нихъ не хватило бы силы пожертвовать собою — нѣтъ, а по той причинѣ, что въ нихъ нѣтъ рѣшимости и воли къ дѣйствию, нѣтъ главнаго — вѣры въ свою побѣду. Для вѣры нужна цѣльность и крѣпость души. Вѣра больше всего требуетъ, чтобы въ иные моменты человѣкъ не оглядывался назадъ, не разсуждалъ, а только дѣйствовалъ. Между тѣмъ, люди этого типа не могутъ не разсуждать, не могутъ не подвергать всестороннему анализу каждый свой шагъ и порывъ. И этотъ анализъ, колебля вѣру въ успѣхъ, парализуетъ всякую возможность смѣлой, вдохновляющей инициативы.

Чеховъ угадалъ женственный характеръ русской интеллигенціи прежняго типа, выросшей и воспитавшейся не столько въ активной борьбѣ за жизнь, сколько въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ объ отвлеченныхъ утопіяхъ далекой и недоступной „невозобразимо прекрасной жизни“.

Интеллигенція эпохи Чехова, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, — очень культурное, духовно изящное поколѣніе, но при этомъ исключительно хрупкое, какъ по душевной своей конструкціи, такъ и по отсутствію жизненной энергіи, по неумѣнію сопротивляться судьбѣ. Оттого такъ легко революція и смела ее почти безъ остатка.

Это поколѣніе по духу своему было чуждо материализму. Рационализмъ тоже не могъ его удовлетворять, потому что глубокоразвитое индивидуальное начало, чувство личности въ себѣ и въ другихъ не мирилось съ мыслью объ исчезновеніи этой личности. Герои Чехова, какъ и онъ самъ, не рѣшаясь до конца стать религіозно вѣрующими, увѣровать въ безсмертіе, въ сущности объ этомъ безсмертіи больше всего и тоскуютъ. Мысль о концѣ отравляетъ имъ жизнь; каждый ударъ судьбы дѣлаетъ для нихъ особенно горькой всякую короткую минуту короткой радости, какъ пепломъ, засыпаетъ ее печальнымъ сознаніемъ хрупкости и ненадежности человѣческаго счастья. . .

И почти вся жизнь наиболѣе благородныхъ чеховскихъ героевъ изъ среды интеллигенціи проходитъ, въ тщетныхъ поискахъ синтезировать естественную жажду бытія и боязнъ этого бытія, кончающагося смертью.

Только одна Соня, какъ будто находитъ для себя этотъ синтезъ, когда въ минуту предѣльной печали и безнадежности она говоритъ, обращаясь къ такому же обойденному судьбою, какъ и она, дядѣ Ванѣ:



„Мы, дядя Ваня, будемъ жить. Проживемъ длин-  
„ный, длинный рядъ дней, долгихъ вечеровъ, будемъ  
„терпѣливо сносить испытанія, какія пошлетъ судьба,  
„будемъ трудиться для другихъ и теперь и въ ста-  
„рости, не зная покоя, а когда наступитъ нашъ часъ,  
„мы покорно умремъ и тамъ, за гробомъ, мы скажемъ,  
„что мы страдали, что намъ было горько, и Богъ  
„сжалится надъ нами, и мы съ тобою, дядя, милый  
„дядя, увидимъ жизнь свѣтлую, прекрасную, изящную,  
„мы обрадуемся и на теперешнія наши несчастья  
„оглянемся съ умиленіемъ, съ улыбкой — и отдох-  
„немъ. Я вѣрую, дядя, горячо, страстно... Мы от-  
„дохнемъ! Мы услышимъ ангеловъ, мы увидимъ все  
„небо въ алмазахъ, мы увидимъ, какъ все зло земное,  
„всѣ наши страданія потонуть въ милосердіи, ко-  
„торое наполнить собою весь міръ, и наша жизнь  
„станетъ тихою, нѣжною, сладкою, какъ сказка...  
„Я вѣрую, вѣрую...“

Соня не утѣшаетъ ни себя, ни дядю Ваню благо-  
получіемъ грядущихъ поколѣній, ожиданіемъ утопіи  
„черезъ двѣсти, триста, наконецъ, тысячу лѣтъ“.  
И для Сони и для дяди Вани въ тотъ моментъ,  
когда ихъ послѣднія надежды на маленькую радость  
въ жизни погасли, не можетъ быть успокоенія отъ  
мысли, что „наши страданія перейдутъ въ радость  
для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ“. Соня  
хочетъ утоленія своей боли для самой себя.  
Эта боль слишкомъ мучительна, чтобы найти ей  
разрѣшеніе въ расплывчатой мечтѣ о счастіи бу-  
дущаго человѣчества. „Мы отдохнемъ“, говоритъ  
Соня. Отдохнемъ не въ покоѣ смерти, а въ сіяніи  
вѣчной жизни: „Мы обрадуемся и на теперешнія  
наши несчастья оглянемся съ умиленіемъ, и  
улыбкой...“

### III.

**Вѣрующія души. Религіозное пріятіе жизни и ея страданій. Повѣсть „Въ оврагѣ“. Липа. Вѣра и дѣтскость души. Автобіографическій разсказъ „На страстной недѣлѣ“. „Архіерей“. „Кошмаръ“.**

Въ средѣ русской интеллигенціи, которую описывалъ Чеховъ, кромѣ Сони, мы ни отъ кого не слышимъ религіозныхъ призывовъ и попытки религіознаго объясненія смысла жизни. Да и у Сони слова о Богѣ вырываются въ минуту предѣльнаго отчаянія. На протяженіи всей пьесы она ни разу не упоминаетъ о вѣрѣ, о высшемъ назначеніи человѣка. Лишь когда всѣ двери къ земному счастью оказываются запертыми, она стучится въ послѣднюю дверь, за которой конецъ всему здѣшнему и должно же быть, во имя справедливости, нѣчто нездѣшнее, прекрасное, утѣляющее всякую земную боль. На основаніи одного послѣдняго монолога, мы не можемъ еще назвать Сою религіозной натурой, какой является, напримѣръ, Лиза Калитина у Тургенева („Дворянское гнѣздо“).

И трагедія безвыходности продолжаетъ оставаться трагедіей во всѣхъ пьесахъ Чехова и для всѣхъ его героевъ изъ числа такъ называемыхъ „мыслящихъ и образованныхъ людей“.

Но вотъ гдѣ то въ сторонѣ отъ нихъ, совсѣмъ въ другомъ планѣ русской жизни Чеховъ увидѣлъ иное пріятіе міра и человѣческой судьбы.

Отъ покорно выносящей всѣ жестокія обиды и удары своей жизни простой женщины Липы („Въ оврагѣ“) и до образованнаго архіерея („Архіерей“) какія-то категоріи людей живутъ внѣ трагедіи Тугенбаха, Вершинина, стараго профессора и множества разныхъ по положенію и по характерамъ,

но одинаковыхъ въ своей разъѣдающей тоскѣ, чеховскихъ интеллигентовъ.

Для Липы и ея матери Прасковьи, для Ольги („Мужики“), для послушника Іеронима („Святою ночью“), для стараго священника, о. Христофора, („Степь“) и молодого дьякона („Дуэль“), для студента духовной академіи („Студентъ“) и другихъ людей религіознаго склада нѣтъ безсмыслицы въ самомъ какъ будто безсмысленномъ, нѣтъ ужаса и безвыходности въ наиболѣе ужасномъ.

По сравненію съ тѣмъ, что выпало на долю Липы, печали и неудачи всѣхъ трехъ сестеръ, всѣхъ героинь чеховскихъ пьесъ кажутся почти не стоящими вниманія. Съ дѣтства она живетъ въ нищетѣ при матери-поденщицѣ. Мать робка по характеру, а нищета доводитъ ея природную робость до полной беззащитности и постояннаго чувства страха передъ всѣмъ и передъ всѣми. И Липа робка и покорна. Когда ее, еще почти дѣвочку, хотятъ взять замужъ за сына разбогатѣвшаго мѣщанина Цыбукина, ни ей, ни ея матери и въ голову не приходитъ подумать, что отъ этого брака можно отказаться. Женихъ, а потомъ мужъ, внушаетъ Липѣ только безпредѣльный страхъ и ужасъ. Боится она своей жадной и хищной невѣстки Аксиньи, боится всего, ненужнаго ей, богатства въ цыбукинскомъ домѣ. Когда мужъ черезъ пять дней послѣ свадьбы уѣзжаетъ въ городъ обратно, Липа вздыхаетъ свободно и съ облегченнымъ сердцемъ принимается въ домѣ за самую черную работу: ей кажется, что она возвратилась къ прежней своей жизни у матери, когда ходила на поденку. У этого кроткаго существа не отъ тупости душевной, а отъ кротости и чистоты смиреннаго сердца, даже мысли не мелькаетъ о томъ, что можно протестовать, жаловаться, можно даже ненавидѣть и мужа, и злую

невѣстку, и весь цыбукинскій домъ, богатство котораго цѣликомъ построено на постоянномъ обманѣ и жестокой неправдѣ. Лишь однажды ночью въ сараѣ, гдѣ она ложится спать съ матерью, видитъ страшную Аксиныю и слышитъ разговоры съ ней подошедшаго старика-свекра о фальшивыхъ деньгахъ, привезенныхъ мужемъ Липы, Анисимомъ, у нея сжимается сердце и она говоритъ матери:

— И зачѣмъ ты отдала меня сюда, маменька! —

Обѣ онѣ, испуганныя и чужія этому дому, готовы впасть въ полное отчаяніе. Но у обѣихъ въ душѣ, рядомъ съ безпомощностью и страхомъ, заложена великая сила вѣры и въ неизбежность страданій, и въ конечную правду, вѣры которой нѣтъ у интеллигентныхъ чеховскихъ героинь; „И „чувство безутѣшной скорби готово было овладѣть ими. Но, казалось имъ, кто-то смотритъ съ высоты „неба, изъ синевы, оттуда, гдѣ звѣзды, видитъ все, „что происходитъ въ Уклеевѣ, сторожить. И, какъ „ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и „все же въ Божьемъ мірѣ правда есть и будетъ, такая же тихая и прекрасная, и все на землѣ только „ждетъ, чтобы слиться съ правдой, какъ лунный „свѣтъ сливается съ ночью“.

Потомъ мужа Липы сажаютъ въ тюрьму за изготовленіе и сбытъ фальшивыхъ денегъ, судятъ и приговариваютъ къ каторжнымъ работамъ. Послѣ его отъѣзда въ городъ, она его такъ и не видала, но злоба Аксиныи уже заклеимила и Липу и родившагося у нея мальчика, Никифора, позорной кличкой „каторжанки съ ея чертенкомъ“. Ребенокъ озаряетъ все существо Липы небывалой радостью. Ея еще дѣтское сердце все трепещетъ отъ непонятнаго ей самой чувства любви къ маленькому сыну, крошечному и жалкому; сама ребенокъ, она играетъ

имъ и не можетъ скрыть своего восхищенія и не можетъ его постигнуть :

„— Маменька, отчего я его такъ люблю? — спрашиваетъ Липа у свекрови, и глаза у нея блестятъ отъ слезъ.“

И вотъ эту единственную и первую радость всей ея жизни, судьба, точно звѣрь, вырываетъ у Липы. Узнавъ, что свекоръ пожелалъ обезпечить внука и поѣхалъ въ городъ писать въ его пользу завѣщаніе на тотъ самый участокъ земли, гдѣ былъ построенъ кирпичный заводъ, Аксинья въ припадкѣ бѣшеной завистливой ненависти ошпариваетъ маленькаго Никифора кипяткомъ . . .

„Послѣ этого“, — рассказываетъ Чеховъ, — „послышался крикъ, какого еще никогда не слыхали въ Уклеевѣ, и не вѣрилось, что небольшое слабое существо, какъ Липа можетъ кричать такъ. И на дворѣ вдругъ стало тихо“. „ . . . И пока не вернулась кухарка съ рѣки, никто не рѣшался войти въ кухню и взглянуть что тамъ.“ Не подводитъ и авторъ своего читателя вплотную къ страшной сценѣ. Глубокимъ своимъ художественнымъ инстинктомъ Чеховъ знаетъ неизмѣримость словами подлиннаго человѣческаго горя. Онъ лишь показываетъ намъ, какъ бы издали, Липу, возвращающуюся въ тотъ же день изъ больницы съ мертвымъ Никифоромъ на рукахъ, закутаннымъ въ одѣяльце. Ни слезъ, ни жалобъ. Она сама почти мертвая. Присѣвъ на дорогѣ у пруда, она смотритъ какъ женщина приводитъ поить лошадь, и лошадь не пьетъ. И Липа, глядя на лошадь, говоритъ: „Не пьетъ.“ Женщина съ лошадью уходитъ, и Липа остается одна. „ . . . и уже никого не было видно. „Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчей, и длинныя облака, красныя и лиловыя, сторожили его покой, протянувшись по небу.“

„Гдѣ-то далеко, неизвѣстно гдѣ, кричала выпь...  
„Наверху, у больницы, у самого пруда въ кустахъ,  
„за поселкомъ и кругомъ въ полѣ заливались со-  
„ловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сби-  
„валась со счета и опять начинала. Въ прудѣ сер-  
„дито перекликались лягушки.... Какой шумъ!  
„Казалось, что всѣ эти твари кричали и пѣли на-  
„рочно, чтобы никто не спалъ въ этотъ весенній  
„вечеръ, чтобы всѣ, даже сердитыя лягушки, доро-  
„жили и наслаждались каждой минутой: вѣдь  
„жизнь дается только одинъ разъ! На небѣ свѣтиль  
„серебряный полумѣсяцъ. Было много звѣздъ.  
„Липа не помнила, какъ долго она сидѣла у пруда,  
„но когда встала и пошла, то въ поселкѣ всѣ уже  
„спали и не было ни одного огня. До дома было,  
„вѣроятно, верстъ двѣнадцать, но силъ не хватало,  
„не было соображенія, какъ идти; мѣсяцъ блестѣлъ  
„то спереди, то справа и кричала все та же ку-  
„кушка, уже осипшимъ голосомъ, со смѣхомъ,  
„точно дразнила: „ой, гляди собьешься съ дороги!“  
„Липа шла быстро, потеряла съ головы платокъ...  
„Она глядѣла на небо и думала о томъ, гдѣ теперь  
„душа ея мальчика: идетъ ли слѣдомъ за ней или  
„носится тамъ вверху, около звѣздъ, и уже не ду-  
„маетъ о своей матери? О, какъ одиноко въ полѣ  
„ночью, среди этого пѣнія, когда самъ не можешь  
„пѣть, среди непрерывныхъ криковъ радости, когда  
„самъ не можешь радоваться, когда съ неба смотреть  
„мѣсяцъ, тоже одинокій, которому все равно —  
„весна теперь или зима, живы люди или мертвы...  
„Когда на душѣ горе, то тяжело безъ людей.“

Липа не умѣетъ сложно и послѣдовательно раз-  
суждать о человѣческихъ страданіяхъ, о несправед-  
ливости судьбы, о загубленной жизни. У нея нѣтъ  
даже словъ, чтобы высказать свою боль. Но боль  
отъ этого не меньше.

Встрѣченнѣмъ ею ночью мужикамъ, которые ее подвозятъ домой, она умѣетъ лишь коротко объяснить:

„— Я въ больницѣ была. Сыночекъ у меня тамъ померъ. Вотъ домой несу. —

Это все. И этимъ бы все и ограничилось, если бы одинъ изъ ея спутниковъ, старикъ, не отозвался на ея боль. Отзывается онъ по-своему съ глубокой простотой мужицкой вѣры:

„— Это ничего, милая. Божья воля“.

Липа видитъ во взглядѣ старика „состраданіе и нѣжность“. А слова: „Ты мать, всякой матери свое дите жалко“ — раскрываютъ ея сердце и изъ сердца, вмѣстѣ съ болью, вырывается вѣковѣчно недоумѣнный вопросъ — зачѣмъ? Вырывается онъ въ первый, а можетъ быть, и въ послѣдній разъ въ Липиной жизни, отъ изнеможенія души, до краевъ залитой горемъ.

„— Мой сыночекъ весь день мучился... Глядитъ „своими глазочками и молчитъ, и хочетъ сказать и не можетъ. Господи батюшка, Царица Небесная! Я съ горя такъ все и падала на полъ. Стою и упаду возлѣ кровати. И скажи мнѣ, дѣдушка, зачѣмъ маленькому передъ смертью мучиться? Когда мучается большой человѣкъ, мужикъ или женщина, то грѣхи прощаются, а зачѣмъ маленькому, когда у него нѣтъ грѣховъ? Зачѣмъ?“

Это „зачѣмъ?“ не отъ праздно тоскливой философіи Тузенбаха, не отъ томленія своей личной неудовлетворенностью Маши или Ольги, не отъ душевной пустоты стараго больного профессора.

Тамъ, у тѣхъ, „зачѣмъ?“ — вопросъ отъ безвѣрія. Здѣсь, у Липы, — вопросъ этотъ отъ вѣры.

И отъ вѣры же Липѣ отвѣчаетъ старикъ. Сначала какъ будто индифферентнымъ отталкиваніемъ этого ненужнаго въ своей неразрѣшимости вопроса:

— А кто-жъ его знаетъ?

Но потомъ, не сразу, онъ даетъ свое объясненіе, ибо и въ его умѣ происходитъ своя работа: отвѣтъ ему нуженъ не только для Липы, но и для себя самаго, потому что и этотъ старикъ, не меньше Тузенбаха и Вершинина, хочетъ осмыслить судьбу и жизнь человѣка.

„Проѣхали съ полчаса молча.

„— Всего знать нельзя, зачѣмъ да какъ, — ска-  
„залъ старикъ. — Птицѣ положено не четыре крыла,  
„а два, потому что и на двухъ летѣть способно; такъ  
„и человѣку положено знать не все, а только поло-  
„вину или четверть. Сколько ему надо знать, чтобъ  
„прожить, столько и знаетъ“.

Судьба Липы такъ тѣсна, что ей и не приходится отдаться своему горю. Послѣ похоронъ мальчика „Липа поняла, какъ слѣдуетъ, что Никифора уже нѣтъ и не будетъ, поняла, и зарыдала. И она не „знала, въ какую комнату идти ей, чтобы рыдать, „такъ какъ чувствовала, что въ этомъ домѣ послѣ „смерти мальчика ей уже нѣтъ мѣста, что она тутъ „не при чемъ, лишняя; и другіе это тоже чувство-  
„вали“.

И Акинья выгнала Липу изъ дома. Она возвратилась къ матери, въ привычную нищету, на привычную тяжелую работу поденщицы.

Страшнѣе и нелѣпѣе ея замужества, закончившагося безнаказаннымъ убійствомъ Акиньей Липинаго ребенка; трудно себѣ что-нибудь представить. Судьба бросила ее на время въ цыбукинскій домъ и выбросила оттуда обратно, оторвавъ часть жизни, можетъ быть, лучшую часть души... И, однако, Липа не искалѣчена. Она не сломалась. Она оказалась по-своему сильнѣе не только свекра, но сильнѣе и самой Акиньи, поглощенной своей звѣриной алчностью, распластавшейся въ грѣхѣхъ и въ немъ утонувшей.



Повѣсть свою Чеховъ заканчиваетъ замѣчательнымъ эпилогомъ. Черезъ три года послѣ смерти своего ребенка проходитъ передъ нами Липа.

Въ началѣ разсказа авторъ ласково сравниваетъ ее съ жаворонкомъ.

И вотъ это чистое, дѣтски ясное и непосредственное, что свѣтилось въ ея глазахъ и звучало въ ея „тонкомъ серебристомъ голоскѣ“ не утрачено и теперь. Горе и обида не оставили темнаго пятна на душѣ Липы. Она опять вся такъ-же легка какъ жаворонокъ. Ничто не гнететъ ее, не придавливаетъ къ землѣ.

Женщины и дѣвушки идутъ толпой со станціи, гдѣ онѣ грузили въ вагоны кирпичъ. „Онѣ пѣли. „Впереди всѣхъ шла Липа и пѣла тонкимъ голосомъ, „и заливалась, глядя вверхъ на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился „и можно отдохнуть“.

На улицѣ села Липа встрѣчаетъ своего свекра, Цыбукина, несчастнаго жалкаго старика. Его сломала бѣда съ сыномъ. Смерть внука явилась тѣмъ послѣднимъ толчкомъ, отъ котораго уже окончательно падаетъ, чтобы не встать, обезсилѣвшій человѣкъ. Дѣла, нажива, деньги потеряли для него свое значеніе, перестали его держать въ своей власти, а онъ сдѣлался въ своемъ собственномъ домѣ такимъ же лишнимъ, какъ стала когда-то Липа, потерявъ своего ребенка. Аксиныя и старика свекра выбросила вонъ, отломила, точно сухую вѣтку, больше ненужную на сочно-ядовитомъ деревѣ грѣха. Липа, вѣроятно, знаетъ, что старика выгнали изъ дома, что онъ „третій день не ѣвши“. У нея отдаленной тѣнью даже не проходитъ мысли о заслуженномъ возмездіи за „неправду“ цыбукинскаго дома, благополучіе котораго ея прежній свекоръ строилъ на обманѣ и притѣсненіи. Въ ея глубокой жалости къ нему еще

и глубочайшая чуткая деликатность. Передъ нею уже не деревенскій богачъ, а просто бездомный нищій, но именно въ этомъ его положеніи Липа будетъ съ нимъ особенно почтительно осторожна. Это не отъ ума, не отъ сознанія, а отъ религіознаго склада ея души, отъ того подлинно христіанскаго воспріятія міра и людей и христіанскаго къ нимъ отношенія, которое, если господствуетъ въ человѣкѣ, то руководить всѣми его поступками, даже не замѣчаемыми, безотчетными.

„... Костылевъ и Яковъ прошли дальше, и было „слышно, какъ они разговаривали. Вотъ послѣ нихъ „встрѣтился толпѣ старикъ Цыбукинъ; и стало вдругъ „тихо, тихо. Липа и Прасковья немножко отстали и „когда старикъ поравнялся съ ними, Липа поклонилась низко и сказала:

„— Здравствуйте, Григорій Петровичъ!

„И мать тоже поклонилась. Старикъ остановился „и, ничего не говоря, смотрѣлъ на обѣихъ; губы у „него дрожали, и глаза были полны слезъ. Липа „достала изъ узелка у матери кусокъ пирога съ ка- „шей и подала ему. Онъ взялъ и сталъ ѣсть.

„Солнце уже совсѣмъ зашло; блескъ его погасъ „вверху на дорогѣ. Становилось темно и прохладно. „Липа и Прасковья пошли дальше и долго потомъ „крестились“.

Какъ будто даже трудно повѣрить съ перваго взгляда, что повѣсть „Въ оврагѣ“ и „Скучная исторія“ написаны однимъ и тѣмъ же авторомъ.

„Испуская послѣдній вздохъ, я всетаки буду вѣ- „рить, что наука — самое важное, самое прекрасное „и нужное въ жизни человѣка, что она всегда была „и будетъ высшимъ проявленіемъ любви, и что только „ею одною человѣкъ побѣдитъ природу и себя“.

— Такъ говоритъ старый профессоръ Николай Степановичъ. Такъ вѣроятно, часто думалъ и самъ

Чеховъ, такъ утверждало его сознаніе, сознаніе образованнаго человѣка, воспитаннаго на идеяхъ и принципахъ XIX столѣтія.

Но творческая интуиція Чехова раскрывала передъ нимъ иное.

Знаменитый и талантливый профессоръ, прожившій полную счастливую жизнь, своими трудами обогатившій любимую свою науку, въ старости, передъ лицомъ медленно, но неотступно приближающейся смерти, такъ же нищъ, внутренне безпріютенъ, жалокъ и одинокъ, какъ выгнанный изъ своего дома Григорій Петровичъ Цыбукинъ.

Между прожитой жизнью и надвигающимся концомъ для профессора Николая Степановича вдругъ открылась зіяющая пустота. Никто и ничто не въ состояніи ее заполнить. Но такой пустоты не можетъ быть ни у Липы, ни у ея запуганной и забитой жизнью матери, Прасковьи. Онѣ никогда о наукѣ не слыхали, но онѣ, если не знаютъ сознаніемъ, то ощущаютъ сердцемъ, что въ жизни самое важное, самое первостепенное есть правда. Правда съ большой буквы, съ которою борется грѣхъ, и въ зависимости отъ того, кто одержитъ внутри человѣка побѣду, какая изъ этихъ двухъ силъ, нами движущихъ, человѣкъ бываетъ или ясенъ и спокоенъ, даже счастливъ; или подавленъ, жалокъ, до послѣдней степени безпомощенъ.

Силою своего исключительнаго художественнаго дарованія Чеховъ умѣлъ отъ людей и понятій, близкихъ его міровоззрѣнію, внутренне перемѣщаться въ сферу, почти чуждую его сознанію и въ этой сферѣ видѣть и понимать то, чего люди его идейнаго склада не только не понимали, но и не хотѣли даже попытаться понять.

Изображая семью разбогатѣвшаго мѣщанина Цыбукина, который обманываетъ и обираетъ мужиковъ

(„Въ оврагѣ“), Чеховъ не пытается обличать „соціальную неправду“, какъ таковую, — эксплоатацію слабыхъ, всяческую беззащитность крестьянъ передъ сельскими богачами, продажность волостнаго начальства, общее невѣжество и т. д.

Обо всемъ этомъ онъ говоритъ; рисуетъ въ образахъ очень яркихъ цѣлую картину отношеній въ богатомъ фабричномъ селѣ, но центръ тяжести для него отнюдь не въ „язвахъ общественнаго строя“, какъ принято у насъ было прежде выражаться, а въ какой-то болѣе высокой и абсолютной оцѣнкѣ людскихъ дѣйствій и побужденій.

Чеховъ прежде всего чувствуетъ и изображаетъ зло, какъ грѣхъ; окутанность жизни грѣхомъ, поработченность человека грѣху. Грѣхъ, овладѣвъ душой, задавивъ совѣсть, достигаетъ страшной силы своего развитія. Онъ растетъ подобно евангельскимъ плеведамъ и заглушаетъ собою все. Грѣхъ рождается отъ соблазна какой-нибудь страстью. Въ темномъ царствѣ нищеты и повального невѣжества соблазнъ матеріальнаго благополучія дѣйствуетъ всего сильнѣе. Деньги даютъ не только обезпеченное существованіе, но даютъ нѣкоторую власть надъ себѣ подобными, даютъ сознаніе силы, наконецъ, какой-то, на плохо подавленной рабской завистливой ненависти построенный, почетъ. Вотъ такому соблазну поддался эпифанскій мѣщанинъ Григорій Петровичъ Цыбукинъ. Онъ сбываетъ мужикамъ гнилую солонину и тухлую рыбу въ своей лавкѣ, онъ постоянно не доплачиваетъ рабочимъ, беретъ у бѣдняковъ и пьяницъ въ закладъ послѣднее достояніе, тайно торгуетъ водкой и подъ большіе проценты даетъ деньги въ ростъ. Всѣ его способности, вся природная смѣтливость и практичность направлены на то, чтобы какъ можно больше извлечь пользы изъ всякаго, даже самаго темнаго дѣла, какъ можно ловчѣе прижать и обма-

нута каждого человѣка. Страсть къ наживѣ въ корнѣ выжигаетъ въ немъ всякую жалость къ людямъ. Онъ сухъ до жестокости ко всѣмъ, кромѣ своей семьи. Но семью онъ любитъ больше всего. И эта любовь какъ-то уживается съ безчеловѣчностью ко всѣмъ остальнымъ. Больше того: ради семьи, ради ея благополучія, Григорій Цыбукинъ съ особеннымъ рвеніемъ ведетъ свою, по существу, преступную линію.

И оттого, что всѣ, подобные Цыбукину, рассуждаютъ такъ же, какъ онъ, поступаютъ, какъ онъ, грѣхъ нарастаетъ съ особенной силой, не встрѣчая никакого осужденія, если не считать несмѣлыхъ жалобъ, притѣсняемыхъ Цыбукинымъ, рабочихъ и мужиковъ.

Чеховъ-художникъ знаетъ, что корень грѣха таится въ глубинѣ человѣческой души. Соціальная же несправедливость, будучи его слѣдствіемъ, только способствуетъ его буйному разрастанію, какъ хорошо удобренная земля. Жены обоихъ сыновей Цыбукина, и Аксинья, и Липа, обѣ попали изъ бѣдности въ одну и ту же семью. Обѣ выходили замужъ не по любви. Но, въ то время какъ Липа такъ и не прикоснулась ни одной частью своего существа къ внутреннему складу цыбукинской жизни съ ея нечистымъ обогащеніемъ, Аксинья погрузилась въ самую гущу грѣха, заплескалась въ ней, какъ большая рыба, пущенная въ большую рѣку. Въ этой женщинѣ проснулся природной инстинктъ такого хищничества, такой безоглядной жадности къ поглощенію всего, что только можно схватить и оторвать у другихъ, что ея собственный свекоръ долженъ изумляться ея „дѣловитости“. У Аксиньи грѣхъ уже не прячется гдѣ то по закоулкамъ, а выходитъ на широкую дорогу, нагло и смѣло. Старикъ Цыбукинъ, той частью своей души, которой онъ любитъ

свою семью, не воспрещаетъ, а поощряетъ подачу милостыни его женой Варварой. Но Аксиныя уже никого не любить и не можетъ любить. Она не знаетъ ни смутнаго внутренняго безпокойства, ни страха. О совѣсти у нея просто не можетъ быть и рѣчи. Всякое препятствіе на своемъ пути она смахиваетъ какъ соринку. Эта женщина — воплощеніе торжествующаго грѣха. Въ самой ея красотѣ и въ наивной улыбкѣ свѣтится и переливается грѣхъ.

Авторъ не разъ сравниваетъ ее съ животнымъ и говоритъ: „и въ этихъ немигающихъ глазахъ, и въ „маленькой головѣ на длинной шеѣ, и въ ея стройности было что-то змѣиное; зеленая съ желтой „грудью, съ улыбкой, она глядѣла, какъ весной изъ „молодой ржи глядитъ на прохожаго гадюка, вытянувшись и поднявъ голову.“

Грѣхъ стелется надъ селомъ Уклеевымъ. Всѣ почетные гости на свадьбѣ у Цыбукиныхъ укутаны имъ. Деревенскіе фабриканты, Хрымины и Костюковы, которые обсчитываютъ рабочихъ, а въ праздничные дни, устраивая катанье, даютъ лошадьми крестьянскихъ телятъ. Торговцы и трактирщики изъ другихъ деревень. „Волостной старшина и волостной писарь, служившіе вмѣстѣ уже четырнадцать „лѣтъ и за все это время не подписавшіе ни одной „бумаги, не отпустившіе изъ волостного правленія „ни одного человѣка безъ того, чтобы не обмануть и „не обидѣть... оба толстые и сытые и казалось, „что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лицѣ у нихъ была какая-то „особенная, мошенническая.“

Въ безпросвѣтности этого грѣха жена Цыбукина, Варвара, подающая милостыню, зажигающая лампы въ своихъ комнатахъ, кажется существомъ изъ другого міра. „Въ томъ, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое

„какъ въ лампадкахъ и красныхъ цвѣточкахъ. Когда въ заговѣнье или въ престольный праздникъ, кото-  
рый продолжался три дня, сбывали мужикамъ про-  
тухлую солонину съ такимъ тяжкимъ запахомъ,  
что трудно было стоять около бочки, и принимали  
отъ пьяныхъ въ закладъ косы, шапки, женины платки,  
когда въ грязи валялись фабричные, одурманенные  
плохой водкой, и грѣхъ, казалось, сгустившись, уже  
туманомъ стоялъ въ воздухѣ<sup>1)</sup>); тогда становилось  
какъ-то легче при мысли, что тамъ въ домѣ есть  
тихая, опрятная женщина, которой нѣтъ дѣла ни  
до солонины, ни до водки; милостыня ея дѣйстви-  
вала въ эти тягостные туманные дни, какъ предо-  
хранительный клапанъ въ машинѣ.“

Варвара чувствуетъ, почему грѣхъ свилъ гнѣздо въ цыбукинскомъ домѣ: „... скучно у насъ“, — говоритъ она Анисиму. „Ужъ очень народъ оби-  
жаемъ. Сердце мое болитъ, дружокъ, обижаемъ  
какъ — и Боже мой!“ И въ отвѣтъ на просьбу  
Варвары поговорить съ отцомъ, напомнить ему, что  
всѣмъ надо умирать, что послѣ смерти наступитъ  
Божій судъ, „судъ праведный“, Анисимъ высказы-  
ваетъ ей то самое главное и важное, что смущаетъ  
его душу съ тѣхъ поръ, когда онъ во время своего  
вѣнчанья съ Липой стоялъ въ церкви и пытался  
молиться Богу:

„— Бога-то вѣдь, все равно, нѣтъ, мамаша. Чего  
ужъ тамъ разбирать!

Варвара посмотрѣла на него съ удивленіемъ и  
засмѣялась и всплеснула руками. Оттого, что она  
такъ искренно удивилась его словамъ и смотрѣла на  
него, какъ на чудака, онъ смутился.

„— Богъ, можетъ и есть, а только вѣры нѣтъ, —  
сказалъ онъ. — Когда меня вѣнчали, мнѣ было не

---

<sup>1)</sup> Курсивъ нашъ.

„по себѣ. Какъ вотъ возьмешь изъ подъ курицы яйцо, „а въ немъ цыпленокъ пищитъ, такъ во мнѣ совѣсть „вдругъ запищала, и, пока меня вѣнчали, я все „думалъ: есть Богъ! А какъ вышелъ изъ церкви „— и ничего. Да и откуда мнѣ знать есть Богъ „или нѣтъ? Насъ съ малолѣтства не тому учили... „Папаша вѣдь тоже въ Бога не вѣруетъ. Вы какъ- „то сказывали, что у Гунтарева барановъ угнали... „Я нашелъ: это шикаловскій мужикъ укралъ: онъ „укралъ, а шкурки-то у папаши... Вотъ вамъ и вѣра!

„— И старшина тоже не вѣритъ въ Бога, — „продолжалъ онъ: — и писарь тоже, и дьячокъ „тоже. А ежели они ходятъ въ церковь и посты „соблюдаютъ, такъ это для того, чтобы люди про нихъ „худо не говорили, и на тотъ случай, что можетъ и „въ самомъ дѣлѣ страшный судъ будетъ. Теперь „такъ говорятъ, будто конецъ свѣта пришелъ оттого, „что народъ ослабѣлъ, родителей не почитаютъ. Это „пустяки. Я такъ, мамаша, понимаю, что все горе „оттого, что совѣсти мало въ людяхъ ... цѣлый „день ходишь — и ни одного человѣка съ совѣстью. „*И вся причина потому что не знаютъ, есть Богъ или „нѣтъ*<sup>1)</sup> . . .“

Анисимъ самъ погрязъ и въ пьянствѣ и въ грѣхахъ. Его профессія агента сыскаго отдѣленія, не меньше обманной торговли отца, окунула его въ тину человѣческой низости. Но онъ этого не замѣчалъ. Гордился своей профессіей, своей нечистой жизнью въ городѣ. Онъ разучился даже говорить на простомъ и понятномъ языкѣ, уснащая свою рѣчь витіеватыми и некстати употребляемыми словами. Наконецъ, сталъ фальшивомонетчикомъ. И вотъ, только когда страхъ наказанія за уголовное преступленіе подступилъ къ нему вплотную, что-то дрогнуло

---

<sup>1)</sup> Курсивъ нашъ.



и заняло въ его душѣ: „совѣсть вдругъ запищала.“ Не безпокойство за себя разбудило совѣсть, а прикосновеніе къ чему то чистому и высокому, затоптанному всей послѣдующей жизнью, всколыхнуло ее.

Анисимъ стоитъ въ церкви во время своего вѣнчанія съ Липой.

„Церковь была полна, горѣло паникадило, пѣвчіе, какъ пожелалъ того старикъ Цыбукинъ, пѣли по нотамъ.“

Но не это тронуло Анисима. Въ яркой и громкой вѣщности нарочито торжественнаго обряда не было Бога, какъ не было его во всемъ показномъ благочестіи уклеевской „аристократіи“, въ хожденіи ея къ службамъ и въ соблюденіи ею постовъ „на случай что можетъ и въ самомъ дѣлѣ страшный судъ будетъ“. Не было Бога, ибо не почувствовала его и чистая душа Липы: „блескъ огней и яркія платья ослѣпили ее, ей казалось, что пѣвчіе своими громкими голосами стучать по ея головѣ, какъ молотками.“

И все же у Анисима „на душѣ было умиленіе и хотѣлось плакать“, но отъ другого. Отъ воспоминаній.

„Эта церковь была знакома ему съ ранняго дѣтства; когда то покойная мать приносила его сюда „пріобщать, когда-то онъ пѣлъ здѣсь на клиросѣ съ мальчиками; ему такъ памятенъ каждый уголокъ, каждая икона. Его вотъ вѣнчаютъ, его нужно же, нить для порядка, но онъ уже не думалъ объ этомъ, какъ-то не помнилъ, забылъ совсѣмъ о свадьбѣ. Слезы мѣшали глядѣть на иконы, давило подъ сердцемъ; онъ молился и просилъ у Бога, чтобы несчастья, неминуемыя, которыя уже готовы разразиться надъ нимъ не сегодня-завтра, обошли бы его какъ-нибудь, какъ грозовые тучи въ засуху, обходятъ деревню, не давъ ни одной капли дождя.“

„И столько грѣховъ уже наворочено въ прошломъ, столько грѣховъ, такъ все невылазно, непоправимо, что какъ-то даже несообразно просить о прощеніи. Но онъ просилъ и о прощеніи и даже всхлипнулъ громко, но никто не обратилъ на это вниманія, такъ какъ подумали, что онъ выпивши.“

Отъ молитвы, слезъ и покаянія въ душѣ Анисима почти не остается слѣда: „пока меня вѣнчали, я все думалъ: есть Богъ! А какъ вышелъ изъ церкви — и ничего.“ Пережитое въ церкви залито виномъ на свадебномъ обѣдѣ, засыпано мусоромъ пошлыхъ и хвастливыхъ разговоровъ, заглушено пьяными криками, шумомъ, толкотней гостей.

Не замолкаетъ лишь у Анисима ожиданіе бѣды, и оно то и не дастъ больше затянуться той ранкѣ, которая болитъ вопросомъ „есть Богъ или нѣтъ.“

#### IV.

**Вѣра и дѣтскость души. Автобіографическій рассказъ „На Страстной Недѣлѣ“. „Архіерей“. „Кошмаръ“.**

Богъ, вѣра, молитва, чистота сердца для Чехова неразрывно связаны только съ дѣтствомъ или съ дѣтскимъ состояніемъ души. Уходитъ дѣтство и все это исчезаетъ. Жизненный опытъ и созрѣвшій умъ несовмѣстимы съ вѣрой: „образованный человѣкъ не можетъ вѣрить въ Бога.“ Весенній лугъ покрытъ молодой травой и свѣжими ярко радостными цвѣтами . . . Когда наступитъ лѣтній зной, трава и цвѣты будутъ скошены. Это неизбежно . . .

Липа вѣрить въ Бога, потому что у нея дѣтская душа, и она вся похожа на весенняго жаворонка. Въ дѣтствѣ вѣрилъ и Анисимъ, вѣроятно, и старикъ Цыбукинъ; даже, можетъ быть, и старшина и писарь, у которыхъ теперь „даже кожа на лицѣ какая-то осо-

бенная, мошенническая“, тоже вѣрили въ Бога и молились.

Лаптевъ, герой повѣсти „Три года“, ждетъ около церкви дѣвушку, которую онъ любитъ. Церковь ему не нужна, о Богѣ онъ не думаетъ больше. Онъ вспоминаетъ московскіе „разговоры о томъ, что безъ любви жить можно, что страстная любовь есть психозъ, что, наконецъ, нѣтъ никакой любви, а есть только физическое влеченіе половъ . . .“ Но вотъ около него Юлія Сергѣевна, возвращающаяся изъ церкви отъ всенощной. Они идутъ рядомъ. „Отъ нея шелъ легкій, едва уловимый запахъ ладона, и „это напомнило ему время когда онъ тоже вѣровалъ въ Бога и ходилъ ко всенощной<sup>1)</sup>, и когда мечталъ много о чистой поэтической любви.“

Въ разсказѣ „На страстной недѣлѣ“, несомнѣнно автобіографическомъ, изображающемъ дѣтское говѣнье, Чеховъ вспоминаетъ о томъ, какъ онъ самъ ребенкомъ вѣрилъ въ Бога.

Семья Чеховыхъ, мѣщанская, сѣренькая, крѣпко держалась внѣшне обрядоваго благочестія. Глубокой и прочной религіозной основы она не могла заложить въ душу мальчика, котораго за шалости тоже пугали страшнымъ судомъ.

Дѣтское религіозное міропониманіе всегда наивно и несложно. Но въ разсказѣ Чехова эта наивность носить опредѣленный отпечатокъ опредѣленнаго быта:

Мальчикъ идетъ въ церковь къ исповѣди. Его собственное непосредственное религіозное чувство, какъ заплатами, покрыто домашними благочестивыми наставленіями и разъясненіями.

Онъ видитъ двухъ уличныхъ мальчиковъ, прицѣпившихся къ задку извозничьей пролетки. „Я хочу

---

1) Курсивъ нашъ.

„присоединиться къ нимъ, но вспоминаю про исповѣдь, и мальчишки начинаютъ мнѣ казаться величайшимъ грѣшниками.

„На страшномъ судѣ ихъ спросятъ: зачѣмъ вы шалили и обманывали бѣднаго извощика? — думаю я. — Они начнутъ оправдываться, но нечистые духи схватятъ ихъ и потащатъ въ огонь вѣчный. Но если они будутъ слушаться родителей и подавать нищимъ по копейкѣ, или бублику, то Богъ сжалятся надъ ними и пуститъ ихъ въ рай.“

„Церковная паперть суха и залита солнечнымъ свѣтомъ. На ней ни души. Нерѣшительно я открываю дверь и вхожу въ церковь. Тутъ въ сумеркахъ, которые кажутся мнѣ густыми и мрачными, какъ никогда, мною овладѣваетъ сознаніе грѣховности и ничтожества. Прежде всего бросаются въ глаза большое распятіе и по сторонамъ его Божія Матерь и Іоаннъ Богословъ. Паникадила и ставники одѣты въ черные траурные чехлы, лампадки мерцаютъ тускло и робко, солнце какъ будто умышленно минуетъ церковныя окна.

„Богородица и любимый ученикъ Іисуса Христа, изображенные въ профиль, молча глядятъ на невыносимыя страданія и не замѣчаютъ моего присутствія; я чувствую, что для нихъ я чужой, лишній, незамѣтный, что не могу помочь имъ ни словомъ, ни дѣломъ, что я отвратительный безчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всѣхъ людей, какихъ только я знаю, и всѣ они представляются мнѣ мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковныя сумерки дѣлаются гуще и мрачнѣе, и Божія Матерь съ Іоанномъ Богословомъ кажутся мнѣ одинокими.“

Въ разсказъ вкраплена типичная для прошлаго

бытовая сценка дѣтской ссоры въ церкви, дошедшей до драки свѣчками по головѣ, съ уличнымъ забіякой Митькой въ то время какъ оба мальчика дожидаются очереди идти на исповѣдь. Поссорившихся разнимають, а черезъ нѣсколько короткихъ минутъ наступаетъ исповѣдь, вызывающая страхъ.

„Теперь ужъ и я двигаюсь за ширмы. Подъ ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу къ аналою, который выше меня. На мгновеніе у меня въ глазахъ мелькаетъ равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукавъ съ голубой подкладкой, крестъ и край аналая. Я чувствую близкое сосѣдство священника, запахъ его рясы, слышу строгій голосъ, и моя щека, обращенная къ нему, начинаетъ горѣть... Многого отъ волненія я не слышу, но на вопросы отвѣчаю искренно, не своимъ, какимъ-то страннымъ голосомъ, вспоминаю одинокихъ Богородицу и Іоанна Богослова, распятіе, свою мать, и мнѣ хочется плакать, просить прощенія. — Тебя какъ зовутъ? — спрашиваетъ священникъ, покрывая мою голову мягкою эпитрахилью.

„Какъ теперь легко, какъ радостно на душѣ!

„Грѣховъ уже нѣтъ, я святъ, я имѣю право идти въ рай! Мнѣ кажется, что отъ меня уже пахнетъ такъ же какъ отъ рясы, я иду изъ-за ширмъ къ дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковныя сумерки уже не кажутся мнѣ мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, безъ злобы.“

„Придя домой, я, чтобъ не видать какъ ужинають, поскорѣе ложусь въ постель и, закрывши глаза, мечтаю о томъ, какъ хорошо было бы претерпѣть мученія отъ какого-нибудь Ирода или Діоскора, жить въ пустынѣ и, подобно старцу Серафиму, кормить медвѣдей, жить въ келіи и питаться одной просфорой, раздать имущество бѣднымъ, идти въ

„Кіевъ. Мнѣ слышно какъ въ столовой накрываютъ  
„на столъ — это собираются ужинать: будутъ ѣсть  
„винигретъ, пирожки съ капустой и жаренаго судака.  
„Какъ мнѣ хочется ѣсть! Я согласенъ терпѣть всякія  
„мученія, жить въ пустынѣ безъ матери, кормить  
„медвѣдей изъ собственныхъ рукъ, но только сначала  
„съѣсть бы хоть одинъ пирожокъ съ капустой!

„Боже, очисти меня грѣшнаго, — молюсь я, укрываюсь съ головой. Ангелъ хранитель защити меня  
„отъ нечистаго духа.

„На другой день, въ четвергъ, я просыпаюсь съ  
„душой ясной и чистой, какъ хорошій весенній день.  
„Въ церковь я иду весело, смѣло, чувствуя, что я  
„причастникъ, что на мнѣ роскошная и дорогая рубаха, сшитая изъ шелковаго платья, оставшагося  
„послѣ бабушки. Въ церкви все дышитъ радостью,  
„счастьемъ и весной; лица Богородицы и Іоанна  
„Богослова не такъ печальны, какъ вчера, лица причастниковъ озарены надеждой, и кажется, все прош-  
„лое предано забвенію, все прощено.“

Въ этомъ разсказѣ Чехова не одинъ только внут-  
ренній міръ восьмилѣтняго ребенка, но и отзвукъ  
прежняго затвердѣвшаго оффиціально-бытового благо-  
честія.

„Равнодушное, утомленное лицо священника“,  
дьяконъ, для порядка записывающій фамиліи говѣю-  
щихъ, представленія мальчика, усвоенныя отъ взрос-  
лыхъ, о томъ, какъ нечистые духи, подхватятъ и по-  
тащатъ въ огонь вѣчный грѣшниковъ, въ томъ числѣ  
и уличныхъ шалуновъ и что отъ этого вѣчнаго огня  
можно избавиться подачей нищимъ бубликовъ или  
копеекъ. . .

Этихъ мельчайшихъ отдѣльныхъ штриховъ, тонко  
подмѣчаемыхъ и запоминающихся уже съ самаго  
дѣтства, у Чехова въ его произведеніяхъ разбросано  
очень много. Въ каждомъ богатомъ или просто за-

житочномъ купеческомъ и мѣщанскомъ домѣ „кіоты, образа, лампы, портреты духовныхъ особъ“; служатся молебны, приходитъ на праздничные и поминальные обѣды духовенство, вотъ эти священники, которые съ „равнодушнымъ лицомъ“ исповѣдуютъ восьмилѣтнихъ дѣтей, дьякона густыми басами возглашающіе хозяевамъ многолѣтіе, дьячки, которые, можетъ быть, иногда не вѣрятъ въ Бога... Громко поютъ пѣвчіе. Люди, жестокіе къ ближнему, истово кладутъ поклоны, строго по уставу въ посты не ѣдятъ скоромнаго, но за то объѣдаются всякими заливными и разварными рыбами, икрой, пирогами. И духовенство особенно охотно ходитъ въ богатые дома, не задумываясь надъ происхожденіемъ богатства; ему не приходится въ голову обличать грѣхи тѣхъ, кто его принимаетъ и угощаетъ, а послѣ молебновъ суетъ въ руку кредитки. И въ цыбукинскомъ домѣ на поминальномъ обѣдѣ, послѣ похоронъ убитаго Аксиньей Липинаго ребенка, на почетномъ мѣстѣ, за однимъ столомъ съ преступной и злой женщиной, ничуть не смущаясь этимъ, сидитъ духовенство. „Гости и духовенство ѣли много и съ такою жадностью, какъ будто давно не ѣли.“ Священникъ не думаетъ о преступленіи Аксиньи, о грѣхѣ, затопившемъ всю семью; не занимаетъ его и горе молодой матери. Лишь изъ приличія, видя Липу, прислуживающую за столомъ, „батюшка поднимъ вилку, на которой былъ соленый рыжикъ, сказалъ ей:

„— Не горюйте о младенцѣ. Таковыхъ есть царствіе небесное.“

Все это Чеховъ видѣлъ.

И, тѣмъ не менѣе, сквозь весь мракъ безжизненнаго традиціоннаго благочестія, лежавшаго тяжкими сѣрыми пластами, какъ тающій снѣгъ, въ низинахъ тогдашней русской дореволюціонной жизни, Чеховъ

сумѣлъ замѣтить глубину и красоту настоящей вѣры, настоящей жизни въ Богѣ.

Архіерей, преосвященный Петрѣ, который кончилъ академію, много учился, читалъ и работалъ, долго жилъ заграницей, вѣруетъ всѣмъ своимъ существомъ. Тяжко заболѣвъ, онѣ не поддается никакому страху смерти, который ужасомъ наполняетъ души многихъ чеховскихъ героевъ. Онѣ не думаетъ о лѣченіи, объ отдыхѣ; у него даже нѣтъ тѣни безпокойства о себѣ. Больной, въ жару, онѣ занимается дѣлами, а въ дни Страстной недѣли самъ совершаетъ всѣ длинныя торжественныя службы до тѣхъ поръ, пока тифъ не сваливаетъ его совсѣмъ съ ногъ уже наканунѣ смерти.

Главная тема этого чеховскаго разсказа — встрѣча архіерея съ своей матерью, бѣдной и робкой вдовой сельскаго дьякона, которая не видалась съ сыномъ девять лѣтъ и теперь смущается въ его присутствіи, называетъ его на „вы“. Преосвященному больно отъ того, что мать держитъ себя съ нимъ, какъ просительница, но онѣ почему-то не умѣетъ ее достаточно ободрить и заставить чувствовать себя непринужденно. Лишь наканунѣ смерти, когда преосвященный лежитъ совершенно обезсиленный, не можетъ говорить и ничего не слышитъ, въ старухѣ прорывается вся сила материнской любви. Она цѣлуетъ сына, говоритъ ему самыя ласковыя слова, называетъ его уменьшительнымъ прежняго мірскаго имени „Павлуша“. Къ утру онѣ умираетъ. Черезъ мѣсяць назначаютъ на его мѣсто новаго архіерея и о преосвященномъ Петрѣ всѣ забываютъ.

Помнить о немъ только мать, живущая въ прежней бѣдности въ глухомъ маленькомъ городишкѣ. Но когда она иногда пытается робко разсказывать о томъ, что у нея былъ сынъ архіерей, ей не всѣ вѣрятъ.

Цѣнность этого разсказа, однако, не только въ мастерствѣ его бытовыхъ красокъ и въ драматизмѣ по-



ложенія матери и сына, раздѣленныхъ цѣлою пропастью и встрѣтившихся лишь для того, чтобы мать проводила сына въ могилу, не посмѣвъ и не успѣвъ ему выразить всей своей любви.

Замѣтитъ среди тогдашней русской церковной іерархіи, поработанной государственной властью, подавленной насильственнымъ бюрократизмомъ, человѣка съ глубокой вѣрующей душой могъ только очень проницательный глазъ художника.

Не вѣруя церковно самъ, не понимая, что такое Церковь во всей полнотѣ ея значенія, Чеховъ могъ, однако, любоваться вѣрой другого человѣка. Даже не догадываясь до конца, что переживаетъ вѣрующій въ дни Страстной недѣли, онъ все же почувствовалъ, какая сила заставляетъ преосвященнаго Петра преодолевать свою болѣзнь, когда въ великій Четвергъ келейникъ приходитъ къ нему, въ изнеможеніи лежащему въ постели, и сообщаетъ:

„— Лошади поданы, пора къ Страстямъ Господнимъ“.

„Преосвященный одѣлся и поѣхалъ въ соборъ. „Въ продолженіи всѣхъ двѣнадцати Евангелій нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое Евангеліе, самое длинное, самое красивое, читалъ онъ самъ. Бодрое, здоровое настроеніе овладѣло имъ. Это первое Евангеліе „Нынѣ прославился Сынъ Человѣческій“ онъ зналъ наизусть; и, читая, онъ изрѣдка поднималъ глаза и видѣлъ „по обѣ стороны цѣлое море огней, слышалъ трескъ свѣчей, но людей не было видно, какъ и въ прошлые годы, и казалось, что это все тѣ же люди, что были тогда въ дѣтствѣ и юности, что они всѣ тѣ же будутъ каждый годъ, а до какихъ поръ — одному Богу извѣстно“.

„Отецъ его былъ дьяконъ, дѣдъ — священникъ, „прадѣдъ дьяконъ, и весь родъ его, быть можетъ,

„со временъ принятія на Руси христіанства, принадлежалъ къ духовенству, и любовь его къ церковнымъ службамъ, духовенству, къ звону колоколовъ была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; въ церкви онъ, особенно когда самъ участвовалъ въ служеніи, чувствовалъ себя дѣятельнымъ, бодрымъ, счастливымъ. Такъ и теперь. Только когда прочли уже восьмое Евангеліе, онъ почувствовалъ, что ослабѣлъ у него голосъ, даже капля не было слышно, сильно разболѣлась голова, и сталъ беспокоить страхъ, что онъ вотъ-вотъ упадетъ. И въ самомъ дѣлѣ ноги совсѣмъ онѣмѣли, такъ что мало по малу онъ пересталъ ощущать ихъ, и непонятно ему было, какъ и на чемъ онъ стоитъ, отчего не падаетъ...“

Умираетъ преосвященный Петръ легко, даже радостно. Чеховъ съ осторожностью рассказываетъ о его смерти, не пытаясь коснуться глубины вѣрующей души, сознающей свой конецъ: „...ему уже казалось, что онъ худѣе, слабѣе, незначительнѣе всѣхъ, что все то, что было, ушло куда то очень-очень далеко и уже болѣе не повторится, не будетъ продолжаться.

„Какъ хорошо! думалъ онъ. — Какъ хорошо!“

А въ послѣднюю минуту, когда совсѣмъ угасло ощущеніе и пониманіе окружающаго, „представлялось ему, что онъ, уже простой обыкновенный человѣкъ, идетъ по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а надъ нимъ широкое небо, залитое солнцемъ, и онъ свободенъ теперь, какъ птица, можетъ идти куда угодно!“

Чехову, вѣроятно, казалось, что образованный архіерей вѣровалъ въ Бога и любилъ Церковь, потому что „весь родъ его, быть можетъ, со временъ принятія на Руси христіанства, принадлежалъ къ духовенству“. Врожденностью объясняетъ онъ

и то, что въ дѣтствѣ и юности преосвященный Петръ, „котораго тогда звали Павлушей“, изъ села въ село, изъ деревни въ деревню ходилъ съ крестнымъ ходомъ за чудотворной иконой „безъ шапки, босикомъ... съ наивной вѣрой, съ наивной улыбкой, счастливый безконечно“ и „звонили цѣлый день то въ одномъ селѣ, то въ другомъ и казалось тогда, что радость дрожить въ воздухѣ“.

Наростанія вѣры въ отдавшей себя Богу душѣ Чеховъ не знаетъ и потому ему кажется, что даже и у архіерея эта вѣра въ дѣтствѣ была радостнѣе, прочнѣе и счастливѣе. Дѣтство вообще источникъ чистоты и беззаботности, единственная для чело-вѣка пора счастья. Воспоминанія о немъ, трогая и очищая насъ, заставляютъ испытывать горечь неизбѣжныхъ внутреннихъ нашихъ утратъ.

Въ великую Среду преосвященный Петръ присутствуетъ у вечерни. „Монахи пѣли стройно, вдохновенно, и преосвященный, слушая про Жениха, грядущаго въ полуночи, и про чертогъ украшенный, чувствовалъ не раскаяніе въ грѣхахъ, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями въ далекое прошлое, въ дѣтство и юность, когда также пѣли про Жениха и про чертогъ, и теперь все это прошлое представлялось живымъ, прекраснымъ, радостнымъ, какимъ, вѣроятно, никогда и не было“. „И, быть можетъ, на томъ свѣтѣ, въ той жизни мы будемъ вспоминать о далекомъ прошломъ, о нашей здѣшней жизни съ такимъ же чувствомъ. Кто знаетъ!“ — отъ себя говоритъ Чеховъ.

„Преосвященный сидѣлъ въ алтарѣ, было тутъ „темно. Слезы текли по лицу. Онъ думалъ о томъ, „что вотъ онъ достигъ всего, что было доступно чело-вѣку въ его положеніи, онъ вѣровалъ, но все же „не все было ясно, чего-то еще не доставало, не хо-„тѣлось умирать: и все еще казалось, что нѣтъ

„У него чего-то самого важнаго, о чемъ смутно мечталось когда-то, и въ настоящемъ волнуется все та же надежда на будущее, какая была и въ дѣтствѣ, и въ академіи, и заграницей“.

„Какъ они сегодня хорошо поютъ! — думаль онъ, прислушиваясь къ пѣнію, — какъ хорошо!“

Хорошо у Чехова изображеніе человѣческаго, слабаго начала въ душѣ преосвященнаго Петра. Послѣ долгаго отсутствія изъ Россіи, ему особенно трудно чувствовать себя въ гущѣ церковно-канцелярскихъ дѣлъ и отношеній. Тяжкая бюрократическая атмосфера, въ которой государственная власть прежней Россіи заставляла задыхаться „покровительствуемую“ ею Церковь, почти непереносима для преосвященнаго Петра; она его не только угнетаетъ, но порою доводитъ даже до вспышекъ раздраженія. Онъ принималъ просителей, замѣщая больного епархіальнаго архіерея. „... И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чемъ просили, о чемъ плакали; его сердили неразвитость, робость“; „... бумаги входящія и исходящія считались десятками тысячъ, и какія бумаги! Благочинные во всей епархіи ставили священникамъ молодымъ и старымъ, даже ихъ женамъ и дѣтямъ, отмѣтки по поведенію, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и объ этомъ приходилось говорить, читать и писать серьезныя бумаги. И положительно нѣтъ ни одной свободной минуты, цѣлый день душа дрожить, и успокаивался преосвященный Петръ, только когда бывалъ въ церкви“.

„Не могъ онъ никакъ привыкнуть и къ страху, какой онъ, самъ того не желая, возбуждалъ въ людяхъ, несмотря на свой тихій скромный нравъ. Всѣ люди въ этой губерніи казались ему маленькими, испуганными, виноватыми“, „женщины-про-

„сительницы скучными и глупыми, семинаристы и „ихъ учителя необразованными, порой дикими“... „И онъ, который никогда не рѣшался въ проповѣдяхъ говорить дурно о людяхъ, никогда не упрекалъ, такъ какъ было жалко, — съ просителями выходилъ изъ себя, бросалъ на полъ прошенія“.

Ржавые желѣзные обручи, которыми полицейскій режимъ прежней „Святой Руси“ со всѣхъ сторонъ охватывалъ и держалъ Церковь, давили, принижали духовенство, заставляли его особенно много думать и хлопотать о самомъ ничтожномъ, раздробляющемъ и засоряющемъ души. Чеховъ это зналъ и понималъ. Въ противоположность „свободомыслящимъ“ людямъ своей среды и эпохи, онъ не презиралъ, а скорѣе жалѣлъ священниковъ съ „равнодушными“ на исповѣди лицами. Если юморомъ порою и сверкали изображаемыя имъ сцены изъ быта духовенства, то это былъ не злой, а извиняющій юморъ.

Нужно было по-христіански любить и уважать человѣка, чтобы не клеймить его даже за грѣхи. Такой любовью и любилъ Чеховъ. И ему, какъ преосвященному Петру, было трудно „говорить дурно о людяхъ“, „такъ какъ было жалко“. И онъ самъ понималъ, какихъ тяжкихъ усилій должно было стоить вѣрующему архіерею или священнику въ условіяхъ его казенной службы, которою насильственно подмѣнивалось свободное служеніе Богу, сохранить неразсѣченнымъ на части и не засыпаннымъ житейской пылью свой внутренній міръ. Не только преосвященный Петръ, „заграницей отвыкшій отъ русской жизни“ и теперь подавленный „мелкимъ и ненужнымъ“ въ ней, но и самъ Чеховъ „понималъ епархіальнаго архіерея, который когда-то въ молодые годы писалъ „Ученіе

о свободѣ воли“, теперь же, „казалось, весь ушелъ въ мелочи, все позабылъ и не думалъ о Богѣ“.

Въ какой обстановкѣ порою приходилось проходить свое подневольное, служеніе русскому духовенству — у насъ этимъ не интересовались ни общество, ни литература, кромѣ, пожалуй, всѣми забытаго писателя Лѣскова, да двухъ — трехъ мало-замѣтныхъ по таланту, изобразителей специфически „поповскаго“ быта, задѣвавшихъ лишь поверхность ими изображаемаго. Замѣчательную повѣсть Лѣскова „Соборяне“ у насъ не оцѣнили, потому что большинство читающей публики такъ и не прочитало ее никогда. Передовая „мыслящая“ интеллигенція отмахивалась отъ всего „религіознаго“ и „церковнаго“, подобно тому, какъ, воспитанные на ложно-классицизмѣ, литературные предшественники Пушкина, отмахивались отъ „вульгарнаго“ упоминанія о мужикахъ въ поэзіи. Чеховъ, съ его любовью къ человѣку, не побоялся заглянуть въ жизнь и душу русскаго „попа“, о которомъ у насъ въ извѣстныхъ общественныхъ кругахъ заходила рѣчь въ серьезные моменты лишь въ связи съ разговорами о народной темнотѣ и суевѣріяхъ непросвѣщенныхъ массъ, а въ остальное время только въ анекдотахъ. Не побоялся онъ сказать и о томъ, какъ иногда передовые люди у насъ этого „попа“ унижали при всемъ своемъ свободолубіи.

Тридцатилѣтній помѣщикъ и земскій дѣятель, Кунинъ, вернувшись изъ Петербурга въ свое имѣнье, по дѣламъ школы знакомится съ только что назначеннымъ въ ближайшее село молодымъ священникомъ, о. Яковомъ. У Кунина роятся въ головѣ проекты всяческихъ улучшеній и преобразованій въ мѣстной церковно-приходской школѣ, но священникъ, съ которымъ онъ дважды для этого видится, какъ будто, не проявляетъ къ дѣлу ни ма-

лѣйшаго интереса: конфузится, молчить, держится неловко. И наружность у него мало представительная, скорѣе даже жалкая; одѣтъ онъ очень плохо, — въ потрепанную и заплатанную рясу. „Малорослый, „узкогрудый, съ потомъ и краской на лицѣ, онъ на „первыхъ же порахъ произвелъ на Кунина самое „непріятное впечатлѣніе. Ранѣе Кунинъ никакъ не „могъ думать, что на Руси такіе несолидные и „жалкіе на видъ священники“. Когда же Кунинъ велѣлъ подать чаю и увидѣлъ, что о. Яковъ, „выпивъ все до послѣдней капли“, . . .“ „взялъ изъ сахарницы одинъ кренделекъ, откусилъ отъ него кусочекъ, потомъ повертѣлъ въ рукахъ и быстро сунулъ его себѣ въ карманъ, „— то его охватило враждебное и брезгливое чувство къ молодому священнику.

„Какой странный, дикій человекъ! — думалъ „онъ. — Грязень, неряха, грубъ, глупъ и навѣрное „пьяница . . . Боже мой, и это священникъ, духовный „отецъ! Это учитель народа!“

Служба въ ветхой деревянной церковкѣ, гдѣ о. Яковъ въ изношенномъ почти до лохмотьевъ облаченіи совершаетъ литургію при помощи глухого и стараго дьячка, и, по непривычкѣ служить, еще сбивается съ тона, „кланяется неумѣло, ходитъ быстро, царскія врата открываетъ и закрываетъ порывисто“ — увеличиваетъ непріятное чувство Кунина. Онъ заходитъ къ священнику въ домъ, похожій на крестьянскую избу и тщетно опять пытается завести съ о. Яковомъ разговоръ на интересующую его тему, тщетно дожидается стакана чаю, чтобы промочить себѣ горло. Кунинъ возвращается домой совершенно возмущенный священникомъ. Онъ „почти ненавидѣлъ отца Якова. Этотъ человекъ, его жалкая каррикатурная фигура въ длинной помятой ризѣ, его бабье лицо, манера служить, „образъ жизни и канцелярская застѣнчивая почти-

„тельность оскорбляли тотъ небольшой кусочекъ „религіознаго чувства, который оставался еще въ „груди Кунина и тихо теплился наряду съ другими „нянюшкиными сказками. А холодность и непониманіе, съ которыми онъ встрѣтилъ искреннее горячее „участіе Кунина въ его же собственномъ дѣлѣ, „было трудно вынести самолюбію“ . . .

„Небольшой кусочекъ религіознаго чувства“, составляетъ Кунина критически задуматься о томъ, кого долженъ изображать русскій священникъ.

„Будь, напримѣръ, я попомъ . . . Образованный „и любящій свое дѣло попъ много можетъ сдѣлать . . . У меня давно бы уже была открыта „школа. А проповѣдь? Если попъ искрененъ и „вдохновенъ любовью къ своему дѣлу, то какія „чудныя, занимательныя проповѣди онъ можетъ „говорить!“

„Кунинъ закрылъ глаза и сталъ мысленно слагать проповѣдь. Немного погодя, онъ сидѣлъ за „столомъ и быстро записывалъ.

„Дамъ тому рыжему, пусть прочтетъ въ „церкви“ . . . — думалъ онъ.“

Отсутствіе всякаго сочувствія со стороны о. Якова къ дѣлу школы доводитъ Кунина до того, что, обращаясь съ письмомъ къ епархіальному архіерею по поводу этой школы, онъ, въ порывѣ благороднаго негодованія, присоединяетъ къ своему письму настоящій доносъ на молодого батюшку:

„Онъ молодъ, недостаточно развитъ, кажется, „ведетъ нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяетъ тѣмъ требованіямъ, которыя вѣками сложились у русскаго народа по отношенію къ его „пастырямъ“.

Кунинъ, пославши такую жалобу, не испытываетъ ни раскаянія, ни даже смущенія: общественный дѣятель, онъ заботится объ общественной



пользѣ... И въ самое это время о. Яковъ приходитъ къ нему нѣсколько разъ. Но Кунинъ то дѣйствительно отсутствуетъ изъ имѣнья, то просто велитъ не принимать священника, подъ предлогомъ своего отсутствія. Но вотъ о. Яковъ все таки его застаётъ.

„... Какъ и въ первое свое посѣщеніе онъ былъ „красенъ и потенъ, сѣлъ, какъ и тогда на краешекъ „кресла. Кунинъ порѣшилъ не начинать разговора „о школѣ, не метать бисера.

„— Я вамъ, Павелъ Михайловичъ, списочекъ „учебныхъ пособій принесъ... началъ отецъ Яковъ.

„— Благодарю.

„Но по всему было видно, что отецъ Яковъ не „изъ за списочка пришелъ. Вся его фигура выра- „жала сильное смущеніе, но въ то же время на „лицѣ была написана рѣшимость, какъ у человѣка „внезапно озареннаго идеей. Онъ порывался сказать „что-то важное, крайне нужное и силился теперь „поборотъ свою робость.

„Что же онъ молчитъ? — злился Кунинъ. — „Разсѣлся тутъ. Мнѣ вѣдь некогда возиться съ „нимъ!“

„Чтобы хоть чѣмъ-нибудь сгладить неловкость „своего молчанія и скрыть борьбу, происходившую „въ немъ, священникъ началъ принужденно улы- „баться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь „потъ и краску лица, не вязавшаяся съ неподвиж- „нымъ взглядомъ сѣро-голубыхъ глазъ, заставила „Кунина отвернуться.

„Ему стало противно.

„— Извините, батюшка, мнѣ нужно ѣхать... — „сказалъ онъ.

„Отецъ Яковъ встрепнулся, какъ сонный чело- „вѣкъ, котораго ударили, и, не переставая улыбаться, „началъ въ смущеніи запахивать полы своей рясы.

„При всемъ отвращеніи къ этому человѣку, Кунину вдругъ стало жаль его, и онъ захотѣлъ смягчить свою жестокость.

„— Прощу, батюшка, въ другой разъ . . . — сказалъ онъ: — а на прощанье у меня къ вамъ будетъ просьба . . . Тутъ какъ-то я вдохновился, знаете, и написалъ двѣ проповѣди . . . Отдаю на ваше разсмотрѣніе . . . Коли сгодятся, прочтите.

„— Хорошо-съ . . . — сказалъ отецъ Яковъ, покрывая ладонью лежавшія на столѣ проповѣди Кунина.

„— Я возьму-съ . . .

„Постоявъ немного, помявшись и все еще запахивая рясу, онъ вдругъ пересталъ принужденно улыбаться и рѣшительно поднялъ голову.

„— Павелъ Михайловичъ, — сказалъ онъ, видимо стараясь говорить громко и явственно.

„— Что прикажете?

„— Я слышалъ, что вы изволили того . . . рассчитать своего писаря и . . . и ищете теперь новаго . . .

„— . . . А вы имѣете порекомендовать кого-нибудь?

„— Я, видите ли . . . я . . . Не можете ли вы отдать эту должность . . . мнѣ?

„— Да развѣ вы бросаете священство? — изумился Кунинъ.

„— Нѣтъ, нѣтъ, — быстро проговорилъ отецъ Яковъ, почему то блѣднѣя и дрожа всѣмъ тѣломъ.

„— Боже меня сохрани! Ежели сомнѣваетесь, то не нужно, не нужно, не нужно. Я вѣдь это какъ бы между дѣломъ . . . чтобы дивиденды свои увеличить . . . Не нужно, не беспокойтесь!

„— Гм . . . дивиденды . . . Но вѣдь я плачу писарю только двадцать рублей въ мѣсяцъ!

„— Господи, да я и десять взялъ бы! — прошепталъ отецъ Яковъ, оглядываясь. — И десяти довольно! Вы . . . вы изумляетесь и всѣ изумляются. Жадный попъ, алчный, куда онъ деньги дѣваетъ?

„Я и самъ это чувствую, что жадный . . . и казню себя, осуждаю . . . людямъ въ глаза глядѣть совѣстно . . . Вамъ, Павелъ Михайловичъ, я по совѣсти . . . привожу истиннаго Бога въ свидѣтели . . .

„Отецъ Яковъ перевелъ духъ и продолжалъ:

„— Приготовилъ я вамъ дорогой цѣлюю исповѣдь, но . . . все забылъ, не подберу теперь словъ. „Я получаю въ годъ съ прихода сто пятьдесятъ рублей, и всѣ . . . удивляются, куда я эти деньги дѣваю . . . Но я вамъ все по совѣсти объясню . . . „Сорокъ рублей въ годъ я за брата Петра въ духовное училище взношу. Онъ тамъ на всемъ готовомъ, „но бумага и перья мои . . .

„—Ахъ, вѣрю, вѣрю! Ну къ чему все это? — „замахалъ рукой Кунинъ, чувствуя страшную тяжесть отъ этой откровенности гостя и не зная куда дѣваться отъ слезливаго блеска его глазъ.

„—Потомъ-съ, я еще въ консисторіи за мѣсто свое „не все выплатилъ. За мѣсто съ меня двѣсти рублей „положили, чтобъ я по десяти въ мѣсяцъ выплачивалъ . . . Судите же теперь, что остается? А вѣдь, „кромѣ того я долженъ выдавать отцу Авраамію, по „крайней мѣрѣ, хоть по три рубля въ мѣсяцъ!

„—Какому отцу Авраамію?

„—Отцу Авраамію, что до меня въ Синьковѣ священникомъ былъ. Его лишили мѣста за . . . слабость, а вѣдь онъ въ Синьковѣ и теперь живетъ! „Куда ему дѣваться? Кто его кормить станетъ? Хоть „онъ и старъ, но вѣдь ему и уголь, и хлѣба, и одежду „надо! Не могу я допустить, чтобъ онъ, при своемъ „санѣ, пошелъ милостыню просить! Мнѣ вѣдь грѣхъ „будетъ, ежели что! Мнѣ грѣхъ! Онъ . . . всѣмъ за- „должалъ, а вѣдь мнѣ грѣхъ, что я за него не плачу.“

„Отецъ Яковъ рванулъ съ мѣста и, безумно глядя „на полъ, запагалъ изъ угла въ уголь.

„—Боже мой! Боже мой! — забормоталъ онъ, то

„поднимая руки, то опуская. — Спаси насъ, Господи, „и помилуй! И зачѣмъ было такой санъ на себя прини- „мать, ежели ты маловѣръ и силъ у тебя нѣтъ? Нѣтъ „конца моему отчаянію! Спаси, Царица Небесная!

„— Успокойтесь, батюшка! сказалъ Кунинь.

„— Замучилъ голодъ, Павелъ Михайловичъ! — „продолжалъ отецъ Яковъ. — Извините великодушно, „но нѣтъ уже силъ моихъ . . . Я знаю, попроси я, „поклонись, и всякій поможетъ, но . . . не могу! Со- „вѣстно мнѣ! Какъ я стану у мужиковъ просить? Вы „служите тутъ и сами видите. . . Какая рука поды- „метъ, просить у нищаго? А просить у кого побогаче, „у помѣщиковъ не могу! Гордость! Совѣстно!

„Отецъ Яковъ махнулъ рукой и нервно зачесалъ „обѣими руками голову.

„— Совѣстно! Боже, какъ совѣстно! Не могу, гор- „децъ, чтобы люди мою бѣдность видѣли! Когда вы „меня посѣтили, то вѣдь чаю вовсе не было, Павелъ „Михайловичъ! Ни соринки его не было, а вѣдь от- „крыться передъ вами гордость помѣшала! Стыжусь „своей одежды, вотъ этихъ латокъ . . . ризъ своихъ „стыжусь, голода . . . А прилична ли гордость свя- „щеннику?

„Отецъ Яковъ остановился посреди кабинета и, „словно не замѣчая присутствія Кунина, сталъ раз- „суждать съ самимъ собой.

„— Ну, положимъ, я снесу и голодъ и срамъ, но „у меня, Господи, еще попадья есть. Вѣдь я ее изъ „хорошаго дома взялъ! Она бѣлоручка и нѣжная, „привыкла и къ чаю, и къ бѣлой булкѣ и къ прос- „тынямъ . . . Она у родителей на фортопьянахъ иг- „рала . . . Молодая еще и двадцати лѣтъ нѣтъ . . . „Хочется, небось, и нарядиться, и въ гости сѣз- „дять . . . А она у меня хуже кухарки всякой, развѣ „вотъ, что принесу изъ гостей яблочекъ, или какой „кренделечекъ . . .

„Отецъ Яковъ опять обѣими руками зачесалъ „голову.

— И выходить у насъ не любовь, а жалость... „Не могу видѣть ее безъ состраданія...“

Съ такимъ мучительнымъ усиленіемъ вырвавшееся признаніе молодого священника льется, какъ рѣка, прорвавшая плотину. Онъ говоритъ не только о собственной нуждѣ и нищетѣ, но еще съ большимъ страданіемъ рассказываетъ о бѣдности земскаго доктора, жена котораго, не имѣя денегъ на прачку, сама полощетъ на рѣкѣ бѣлье, а чтобы никто не увидѣлъ, встаетъ очень рано и уходитъ за версту отъ деревни, гдѣ ее и встрѣтилъ о. Яковъ, въ этотъ часъ шедшій изъ своего села: „Я оторопѣлъ испугался, подбѣжалъ къ ней, хочу помочь ей, а она бѣлье отъ меня прячетъ, боится, чтобъ я ея рваныхъ сорочекъ не увидѣлъ...“

Замѣчательно то, что Чеховъ, вводя читателя въ самую глубину тяжкаго положенія священника, ставитъ главное удареніе не на мукахъ безпросвѣтной бѣдности, скрываемой отъ чужихъ глазъ, а на томъ, чего не понять общественному дѣятелю Кунину, изъ всего разказа наиболѣе пораженному сообщеніемъ о томъ, что жена врача, бывшая институтка, живетъ въ такой страшной нуждѣ, что ей самой приходится полоскать на рѣкѣ свое бѣлье. „Невѣрующій“ Чеховъ чувствуетъ, что отецъ Яковъ больше всего казнить себя за свое, какъ онъ называетъ, „маловѣріе“, за отсутствіе терпѣнія въ бѣдахъ, за „гордость“, заставляющую его скрывать отъ другихъ свою нищету.

Въ словахъ: „И зачѣмъ было такой санъ на себя принимать, ежели ты маловѣръ и силъ у тебя нѣтъ?“ — высказывается съ одной стороны все отчаяніе за свое личное недостоинство, а съ другой — непоколебимая увѣренность въ томъ, что служеніе

Богу есть тотъ высокій и истинный путь, ставъ на который, человекъ долженъ цѣликомъ и отдать себя Богу, не смущаясь уже ничѣмъ, не зная никакихъ границъ своему самоотверженію.

У этого невзрачнаго на видъ батюшки вся душа озарена и вѣрой въ Бога, и любовью къ ближнему. Его смиреніе и требовательность къ себѣ не имѣютъ предѣловъ. Онъ далекъ отъ мысли кого-нибудь винить въ своемъ безвыходномъ положеніи. Не судить онъ ни мужиковъ, ни помѣщиковъ, за то что онъ, ихъ пастырь, почти что умираетъ съ голоду со своей женой; ни консисторію, которая назначивъ священника на приходъ, да еще бѣдный, заставляетъ его выплачивать „за мѣсто“, а, уволивъ стараго отца Авраамія за слабость къ вину, вѣроятно, и развившуюся отъ беспросвѣтной нужды, обрекаетъ его на голодную смерть...

О. Яковъ во всемъ и за все обвиняетъ только самого себя. Если его мучаетъ голодъ — онъ виновать самъ, ибо не хочетъ нести креста откровеннаго нищенства. Если онъ задолжалъ съ выплатой о. Авраамію добровольно ему назначенной пенсіи, потому что у него не только нѣтъ трехъ рублей, но нѣтъ въ домѣ чаю „ни соринки“, то отвѣтствененъ за это опять таки онъ, о. Яковъ. Онъ считаетъ себя виновнымъ даже въ бѣдности докторши, въ томъ что она сама бѣлье на рѣкѣ полощетъ. Ему кажется, что онъ и въ этомъ случаѣ чего-то не досмотрѣлъ, проявилъ какую-то нерадивость. „Мнѣ бы, какъ „пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до „этого, но что я могу сдѣлать? Что? Самъ же еще „норовлю у ея мужа даромъ лѣчиться“.

— „Мой грѣхъ!“ — эти слова, какъ стонъ боли, вырываются у молодого батюшки. ... „А только я себя виню и буду винить... Буду!“ отвѣчаетъ онъ, на попытку Кунина его какъ-нибудь успокоить. „Во

„время обѣдни, знаете, выглянешь изъ алтаря „да какъ увидишь свою публику, голоднаго Авраамія и „попадью, да какъ вспомнишь про докторшу, какъ „у нея отъ холодной воды руки посинѣли, то, вѣрите „ли, забудешься и стоишь, какъ дуракъ, въ безчув- „ствіи, пока пономарь не окликнетъ... Ужась!“... — „Господи Иисусе!.. — Святые угодники! И слу- „жить даже не могу... Вы вотъ про школу мнѣ „говорите, а я, какъ истуканъ, ничего не понимаю „и только объ ѣдѣ думаю... Даже передъ престо- „ломъ...“ — добавляетъ онъ, заканчивая свою испо- „вѣдь, подавленный до изнеможенія сознаніемъ своей „грѣховности“.

Какъ ни велика тяжесть на душѣ о. Якова, но вспомнивъ, что Кунинъ говорилъ, будто ему нужно уѣзжать, онъ спохватывается и спѣшитъ уйти.

У общественнаго дѣятеля, столь презиравшаго „попа“ съ „аляповатымъ бабьимъ лицомъ“ не находится никакихъ словъ ему въ отвѣтъ.

„Кунинъ молча пожалъ руку отца Якова, прово- „дилъ его до передней и, вернувшись въ свой ка- „бинетъ, остановился передъ окномъ. Онъ видѣлъ „какъ отецъ Яковъ вышелъ изъ дому, нахлобучилъ „на голову свою широкополую ржавую шляпу и „тихо, понутивъ голову, точно стыдясь своей от- „кровенности, пошелъ по дорогѣ“.

— „А его лошади не видно“, — подумалъ Кунинъ.

„Помыслить, что священникъ всѣ эти дни хо- „дилъ къ нему пѣшкомъ, — Кунинъ боялся: до „Синькова было семь-восемь верстъ, а грязь на до- „рогѣ стояла невылазная. Далѣе Кунинъ видѣлъ, „какъ кучеръ Андрей и мальчикъ Парамонъ, пры- „гая черезъ лужи и обрызгивая отца Якова грязью, „подбѣжали къ нему подъ благословеніе. Отецъ „Яковъ снялъ шляпу и медленно благословилъ и „погладилъ по головѣ мальчика“.

„Кунинъ провелъ рукой по глазамъ, и ему пока-  
залось, что рука его отъ этого стала мокрой“.

Дальше Чеховъ описываетъ угрызенія совѣсти Кунина, ужасъ его охватившій, когда онъ вспоминаетъ доносъ, написанный имъ архіерею на о. Якова, и въ дополненіе къ этому находитъ на столѣ свои проповѣди, которыя онъ „на досугѣ“ составилъ для молодого священника.

„Такъ кончилась искренняя потуга къ полезной дѣятельности одного изъ благонамѣренныхъ, но „черезчуръ сытыхъ и неразсуждающихъ людей“. — Этими словами заканчивается разсказъ... Въ нихъ ли его тема? Очевидно Чеховъ хотѣлъ изобразить „кошмаръ“ грубой ошибки „неразсуждающаго человѣка“, который подходитъ къ дѣйствительности жизни съ шаблонными мѣрками и представленіями.

Кунинъ слишкомъ поспѣшное вывелъ заключеніе, что онъ имѣетъ дѣло съ невѣжественнымъ, грубымъ, алчнымъ и пьющимъ „попомъ“... Заключение характерное для „просвѣщеннаго интеллигента“, съ предвзятымъ пренебреженіемъ относящагося къ Церкви и къ русскому духовенству... У самого Чехова не было предвзятости, не было пренебреженія ни къ одной живой душѣ, и потому онъ могъ написать разсказъ совсѣмъ не въ духъ своего времени. Однако, этимъ тема разсказа не исчерпана. Чеховъ-художникъ сказалъ гораздо больше, чѣмъ подсказывало ему чувство его человѣческой справедливости. Фигура о. Якова совершенно заслоняетъ собою Кунина съ его ошибкой и его раскаяніемъ. Передъ нами во весь ростъ стоитъ человѣкъ огромной вѣры и высокой духовной настроенности. По возрасту онъ еще юноша, почти что мальчикъ. На первыхъ же шагахъ пастырства жизнь грубо его стиснула: мракъ и бѣдность де-



ревни съ одной стороны и мертвый консисторскій бюрократизмъ съ другой... Онъ, конечно, растерялся, но скорѣе внѣшне, чѣмъ внутренно; ибо онъ ни въ чемъ не хочетъ снизить, урѣзать своей готовности служить Богу и людямъ, а только не можетъ сразу побороть досадныхъ препятствій, мѣшающихъ во всей полнотѣ осуществить это служеніе...

Тонкими едва уловимыми штрихами нарисоваль Чеховъ прекрасную душу о. Якова, не упустилъ ни одной подробности, вплоть до малозначущей какъ будто сценки, когда священникъ благословляетъ кучера Андрея и мальчика Парамона. И красоту этой души прикрылъ „аляповатымъ бабьимъ лицомъ“, робкими угловатыми манерами, — однимъ словомъ, полнымъ отсутствіемъ того внѣшняго благообразія, которое прежде всего и больше всего располагаетъ къ себѣ людей. Но отъ этого „малорослый узкогрудый“, неряшливо одѣтый въ залатанную и забрызганную грязью рясу и „ржавую шляпу“, о. Яковъ еще больше выигрываетъ.

„Какъ униженъ былъ въ Россіи русскій священникъ!“ подумаетъ иностранецъ, прочтя этотъ чеховскій рассказъ... „Какъ этотъ священникъ былъ жалокъ!“

Какое величіе духа тайлось и таится въ русскомъ православіи, если его лучшіе представители, среди нищеты и униженности, порою не имѣвшихъ предѣла, сохраняли такую силу вѣры не только въ Бога и въ Церковь, но и въ святость своего пастырскаго долга... — скажемъ мы, читая не-вѣрующаго Чехова...

Въ рассказѣ „Кошмаръ“, какъ и во многихъ другихъ его произведеніяхъ, двойственность темы, двойственность настроенія автора: помимо того, что задумано было сказать и показать — сказано нѣчто большее. Выполненіе глубже, богаче и значительнѣе самой темы, оно перерастаетъ ее, не нарушая

при этомъ ничуть художественной цѣльности и законченности самаго произведенія.

О. Яковъ, какъ и Липа и преосвященный Петръ, живетъ и чувствуетъ міръ и себя въ мірѣ иначе, нежели интеллигентные чеховскіе герои. Онъ страдаетъ лишь отъ реальныхъ бѣдствій и совершенно не знаетъ „безпредметной тоски“, какъ не знаетъ и томленія, происходящаго отъ отсутствія смысла жизни. И онъ не только не склоненъ въ своихъ бѣдствіяхъ обвинять людей или обстоятельства, — хотя и тѣ и другіе до очевидности отравляютъ ему существованіе, не даютъ сдѣлать шагу, — но причину всякаго зла онъ видитъ въ самомъ себѣ, въ своей грѣховной слабости. Въ отрывочныхъ, взволнованныхъ и потому мало связанныхъ словахъ, которыя о. Яковъ говоритъ Кунину, пріоткрывается вся глубина его христіанскаго міровозрѣнія: счастье и сила человѣка — въ совершенной вѣрѣ и совершенной любви къ Богу и къ людямъ. Совершенная вѣра и совершенная любовь даютъ душѣ тотъ благодатный міръ, котораго не могутъ нарушить никакія невзгоды жизни. И этотъ міръ душевный не только поддерживаетъ того, кто вѣритъ, но даетъ ему возможность просвѣтлять, облегчать и окружающихъ его людей. О. Яковъ и упрекаетъ себя въ томъ, что онъ осмѣлился стать пастыремъ, не достигнувъ той вѣры, которая можетъ приказать горѣ ввергнуться въ море и при этомъ „не усумнится въ сердцѣ своемъ“. Онъ долженъ былъ утѣшить, просвѣтлить и зажечь вѣрой души своихъ прихожанъ, раздѣлить всѣ ихъ тяготы, принять на себя ихъ огорченія... Общая матеріальная бѣдность, можетъ быть, и не уменьшилась бы отъ этого, но люди несли бы ее легче, она не вливалась бы въ ихъ души горькой и мрачной обидой на жизнь... Ёдкая тоска грызетъ человѣческое сердце, когда оно въ боли и въ бѣдѣ

своей одиноко, когда вынуждено прикрывать эту боль отъ дурного или равнодушнаго любопытства. И вотъ потому докторша за версту отъ деревни полощетъ въ ледяной водѣ рѣки свое бѣлье, и вотъ потому она и скрываетъ отъ священника, который хочетъ ей помочь, свои „рваныя сорочки“...

У о. Якова нѣтъ никакихъ сомнѣній въ томъ, что онъ своего долга не выполнилъ и въ этомъ тяжко виноватъ передъ Богомъ и людьми...

Истинный христіанинъ малѣйшую причину своего малѣйшаго несчастья, тѣмъ болѣе причину своей душевной подавленности, тоски, недовольства своей судьбой долженъ искать въ самомъ себѣ, въ своей грѣховной засоренности, повреждающей внутренній миръ и радость жизни въ Богѣ.

Близость человѣка къ Богу не опредѣляется ни количествомъ школъ, больницъ и желѣзныхъ дорогъ, ни наукой, ни движеніемъ прогресса, ибо „царствіе Божіе внутри васъ есть“.

О такомъ воспріятіи бытія не знаютъ ни Тузенбахъ, ни Вершининъ, ни профессоръ Николай Степановичъ, ни докторъ Андрей Ефимовичъ („Палата 6-ой“); но о немъ догадывается Чеховъ. И порою, пусть на самый короткій моментъ, лучи чужой вѣры, какъ отраженный солнечный свѣтъ, колеблясь, трепещутъ и въ его собственной душѣ.

## V.

Послушникъ Іеронимъ. О. Христофоръ. Дьяконъ Побѣдовъ. Повѣсть „Дуэль“. Покаяніе Лаевского. Воскресеніе души въ изображеніи Толстого и Чехова. Разсказъ „Студентъ“.

Чеховъ разсказываетъ о своей встрѣчѣ въ пасхальную ночь на паромѣ рѣки Голтвы съ послушникомъ Іеронимомъ, приставленнымъ къ перевозу.

„Міръ освѣщался звѣздами, которыя всploшную „усыпали все небо.

„Не помню, когда въ другое время я видѣлъ „столько звѣздъ. Буквально некуда было пальцемъ „ткнуть. Тутъ были крупныя, какъ гусиное яйцо, и „мелкія, съ конопляное зерно... Ради праздничнаго „парада вышли онѣ на небо всѣ до одной тихо ше- „велили своими лучами. Небо отражалось въ водѣ; „звѣзды купались въ темной глубинѣ и дрожали „вмѣстѣ съ легкой зыбью. Въ воздухѣ было тепло „и тихо... Далеко на томъ берегу, въ непроглядной „тмѣ горѣло въ рассыпную нѣсколько ярко-красныхъ „огней...”

Послѣ долгаго ожиданія появляется паромъ, на которомъ Іеронимъ тянетъ канатъ. Чеховъ переправляется одинъ; другихъ пассажировъ нѣтъ.

Пока паромъ медленно ползетъ по широко разлившейся отъ весеннихъ водъ Голтвѣ, перевозчикъ и пассажиръ сначала молчатъ, слушая торжественный пасхальный перезвонъ, любясь горящими смоляными бочками и фейерверкомъ около монастыря, гдѣ только что началась Свѣтлая Заутреня.

Потомъ между ними начинается разговоръ. Тихій, застѣнчивый послушникъ рассказываетъ о своемъ горѣ: у него только что умеръ самый близкій другъ, самый дорогой ему человѣкъ, іеродіаконъ Николай... И то, что онъ сообщаетъ о Николаѣ, о его деликатной натурѣ и ласково кроткой душѣ, о его высокой религіозной настроенности, объ особенной любви къ церковной поэзіи, которая у него выражалась въ томъ, что онъ самъ писалъ акаѣисты, — все это открываетъ душу и самого Іеронима, такую же поэтически-возвышенную и тонкую. Іеронимъ — простой человѣкъ и говоритъ онъ самыми простыми словами, банальными выраженіями то изъ прежняго специфически монастырскаго, то изъ мѣщанскаго лекси-

кона, но Чеховъ умѣетъ вникнуть въ его рѣчь и понять, что скрывается за его робкими фразами... Понимаетъ онъ не только Іеронима и Николая, но и эту, казалось бы, совершенно ему чуждую, вычурно узорную красоту сплетенія древнихъ, тяжелыхъ, какъ кованая парча или старинный окладъ на иконѣ, церковно-славянскихъ эпитетовъ, которыми выражается въ православныхъ канонахъ и акаѳистахъ религіозный восторгъ вѣрующей души.

Чеховъ слушаетъ Іеронима внимательно, серьезно. На его лицѣ мы не чувствуемъ даже тѣни невольной снисходительной улыбки, вызываемой у насъ самыми трогательными и чистыми, но слишкомъ наивными переживаніями наивныхъ человѣческихъ душъ.

„... Умри я, или кто другой, оно бы, можетъ, и „не замѣтно было, но вѣдь Николай умеръ! Никто „другой, а Николай! Даже повѣрить трудно, что его „уже нѣтъ на свѣтѣ! Стою я тутъ на паромѣ и все „мнѣ кажется, что сейчасъ онъ съ берега голосъ „свой подастъ. Чтобы мнѣ на паромѣ страшно не „казалось, онъ всегда приходилъ на берегъ и окликалъ меня. Нарочито для этого ночью съ постели „вставалъ. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человѣка и матери такой нѣтъ, „какимъ былъ у меня этотъ Николай! Спаси, Господи, „его душу!

„Іеронимъ взялся за канатъ, но тотчасъ же опять „повернулся ко мнѣ.

„— Ваше благородіе, а умъ какой свѣтлый! — „сказалъ онъ пѣвучимъ голосомъ. — Какой языкъ „благозвучный и сладкій! Именно вотъ какъ сейчасъ „будутъ пѣть у заутрени: „О, любезнаго! , Осладчайшаго Твоего гласа!“ Кромѣ всѣхъ прочихъ „человѣческихъ качествъ, въ немъ былъ еще и даръ „необычайный!..... У него былъ даръ акаѳисты писать“....

„..... Николай, простой монахъ, іеродьяконъ,

„нигдѣ не обучался и даже видимости наружной не имѣлъ, а писалъ! Чудо! Истинное чудо!

„.....— А развѣ трудно акаѣисты писать? — спросилъ я.

„— Большая трудность... Тутъ мудростью и „святостью ничего не подѣлаешь, ежели Богъ дара „не далъ. Монахи, которые не понимающіе, рассуждаютъ, что для этого нужно только знать житіе „святого, которому пишешь, да съ прочими житіями „соображаться. Но это, господинъ, неправильно, Оно, „конечно, кто пишетъ акаѣистъ, тотъ долженъ знать „житіе до чрезвычайности, до послѣдней самомалѣйшей точки. Ну, и соображаться съ прочими акаѣистами нужно, какъ гдѣ начать и о чемъ писать... „но главное вѣдь не въ житіи, не въ соотвѣтствіи „съ прочимъ, а въ красотѣ и сладости. Нужно, чтобы „все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, „чтобы въ каждой строчекѣ была мягкость, ласковость и нѣжность, чтобы ни одного слова не было „грубаго, жесткаго или несоотвѣтственнаго. Такъ „надо писать, чтобы молящійся сердцемъ радовался „и плакалъ, а умомъ содрогался и въ трепетъ приходилъ. Въ Богородичномъ акаѣистѣ есть слова: „Радуйся, высоту неудобовосходимая человѣческими „помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и „человѣческими очима!“ Въ другомъ мѣстѣ того же „акаѣиста сказано: „Радуйся, древо свѣтло-плодовитое, отъ него же питаются вѣрніи; радуйся древо „благосѣннолиственное, имъ же покрываются мнози!“

„Иеронимъ, словно испугавшись, чего-то или застыдившись, закрылъ ладонями лицо и покачалъ „головой.“

„— Древо свѣтло-плодовитое... древо благосѣннолиственное... — Найдеть же такія слова! Дастъ „же Господь такую способность! Для краткости много „словъ и мыслей пригонить въ одно слово и какъ

„это у него все выходитъ плавно и обстоятельно! „Свѣ-  
„топодательна свѣтильника сущими“ . . . — сказано  
„въ акаѳистѣ Иисусу Сладчайшему. Свѣтоподательна!  
„Слова такого нѣтъ ни въ разговорѣ, ни въ книгахъ,  
„а вѣдь придумалъ же его, нашелъ въ умѣ своемъ!  
„Кромѣ плавности и велерѣчія, сударь, нужно еще,  
„чтобъ каждая строчечка изукрашена было всячески  
„чтобъ тутъ и цвѣты были, и молнія, и вѣтеръ, и  
„солнце, и всѣ предметы міра видимаго. И всякое  
„восклищаніе нужно такъ составить, чтобъ оно было  
„гладенько и для уха вольготнѣй. „Радуйся, крине  
„райскаго прозябенія!“ сказано въ акаѳистѣ Николаю  
„Чудотворцу. Не сказано просто: „крине райскій“, а  
„крине райскаго прозябенія“. Такъ глаже и для уха  
„сладко. Такъ именно и Николай писалъ! Точь въ-точь  
„такъ! И выразить вамъ не могу, какъ онъ писалъ!

. . . . .  
„— Николай печаталъ свои акаѳисты? — спро-  
„силъ я Іеронима.

„— Гдѣ-же печатать? — вздохнулъ онъ . . . . .,

„— Для чего же онъ писалъ?

„— Такъ, больше для своего утѣшенія. Изъ всей  
„братіи только я одинъ и читалъ его акаѳисты.  
„Приду къ нему потихоньку, чтобъ прочіе не видѣли,  
„а онъ и радъ, что я интересуюсь. Обнимаетъ меня,  
„по головѣ гладитъ, ласковыми словами обзываетъ,  
„какъ дитя маленькаго. Затворитъ келью, посадить  
„меня рядомъ съ собой и давай читать . . .

„Іеронимъ оставилъ канатъ и подошелъ ко мнѣ.

„— Мы въ родѣ какъ друзья съ нимъ были, —  
зашепталъ онъ, глядя на меня блестящими глазами.

„— Куда онъ, туда и я. Меня нѣтъ, онъ тоскуетъ.  
„И любилъ онъ меня больше всѣхъ, а все за то, что  
„я отъ его акаѳистовъ плакалъ. Вспоминать трога-  
„тельно! Теперь я все равно какъ сирота или вдо-  
„вица. Знаете, у насъ въ монастырѣ народъ все хо-

„рошій, добрый, благочестивый, но . . . ни въ комъ нѣтъ мягкости и деликатности, все равно какъ люди „простого званія. Говорятъ всѣ громко; когда ходятъ, ногами стучать; гнутся, капляють, а Николай говорилъ завсегда тихо, ласково, а ежели замѣтитъ, что кто спитъ или молится, то пройдетъ мимо, какъ мушка или комарикъ. Лицо у него было нѣжное, жалостное.

„Иеронимъ глубоко вздохнулъ и взялся за канатъ.“ Паромъ приблизился къ берегу.

„— Сейчасъ запоютъ пасхальный канонъ, а Николая нѣтъ, некому вникать. . . Для него слаже и писанія не было, какъ этотъ канонъ. Въ каждое слово, бывало, вникалъ! Вы вотъ будете тамъ, господинъ, и вникните, что поется: духъ захватываетъ!

„— А вы развѣ не будете въ церкви?

„— Мнѣ нельзя-съ. . . Перевозить нужно.

„— Но развѣ васъ не смѣняютъ?

„— Не знаю. . . Меня еще въ девятомъ часу „нужно было смѣнить, да, вотъ видите, не смѣняютъ!“ „А, признаться, хотѣлось бы въ церковь. . .“

И Иеронимъ остается на паромѣ и опять тянетъ канатъ, теперь уже къ другому берегу.

Послѣ разговора съ послушникомъ, на просторѣ темной рѣки, — залитый огромной толпой монастырскій дворъ, движеніе, суета и то особенное радостное возбужденіе, которое захватываетъ всѣхъ въ этотъ ни съ чѣмъ не сравнимый для православныхъ людей праздникъ.

„Какая безпокойная ночь! думалъ я. — Какъ хорошо!

„Безпокойство и безсонницу хотѣлось видѣть во „всей природѣ, начиная съ ночной тьмы и кончая „плитами могильными, крестами и деревьями, подъ „которыми суетились люди. Но нигдѣ безпокойство „и возбужденіе не сказывались такъ сильно, какъ въ



„церкви. У входа происходила неугомонная борьба „прилива съ отливомъ. . . О сосредоточенной молитвѣ не можетъ быть и рѣчи. Молитвѣ вовсе нѣтъ, „а есть какая-то сплошная, дѣтски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться „наружу и излиться въ какомъ-нибудь движеніи, „хотя бы въ безпардонномъ шатаніи и толкотнѣ.

„Та же необычайная подвижность бросается въ „глаза и въ самомъ пасхальномъ служеніи. Царскія „врата во всѣхъ придѣлахъ открыты настежь, въ воз- „духѣ около паникадила плаваютъ густыя облака „ладаннаго дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, „блескъ, трескъ свѣчей. . . Чтеній не полагается, „никакихъ; пѣніе, суетливое и веселое, не прерыва- „ется до самаго конца; послѣ каждой пѣсни въ „канонѣ, духовенство мѣняетъ ризы и выходитъ „кадить. . . . .

„Мнѣ, слившемуся съ толпой и заразившемуся „всеобщимъ радостнымъ возбужденіемъ, было невыно- „симо больно за Іеронима. Отчего его не смѣнять? „Почему бы не пойти на паромъ кому-нибудь менѣ „чувствующему и менѣ впечатлительному?

„Возведи окрестъ очи Твои, Сіоне, и виждь . . . — „пѣли на клиросѣ: — се бо придоша къ Тебѣ, яко „богосвѣтлая свѣтила, отъ запада, и сѣвера, и моря „и востока чада Твоя. . .“

„Я поглядѣлъ на лица. На всѣхъ было живое „выраженіе торжества; но ни одинъ человекъ не „вслушивался и не вникалъ въ то, что пѣлось, и ни „у кого не „захватывало духа“. Отчего не смѣнять „Іеронима? Я могъ себѣ представить этого Іеронима, „смирненно стоящаго гдѣ-нибудь у стѣны, согнувшася „и жадно ловящаго красоту святой фразы. Все, „что теперь проскальзывало мимо слуха стоящихъ „около меня людей, онъ жадно пилъ бы своей чуткой „душой, упился бы до восторговъ, до захватыванія

„духа, и не было бы во всемъ храмъ человѣка, „счастливѣе его. Теперь же онъ плавалъ взадъ и „впередъ по темной рѣкѣ и тосковалъ по своемъ „умершемъ братѣ и другѣ. . . . .  
„... Я вышелъ изъ церкви. Мнѣ хотѣлось посмотрѣть „мертваго Николая, безвѣстнаго сочинителя акаѣи- „стовъ. Я прошелся около ограды, гдѣ вдоль стѣны „тянулся рядъ монашескихъ келій, взглянулъ въ нѣ- „сколько оконъ и, ничего не увидѣвъ, вернулся на- „задъ. Теперь я не сожалею, что не видѣлъ Николая; „Богъ знаетъ, быть можетъ, увидѣвъ его, я утратилъ „бы образъ, который рисуетъ теперь мнѣ мое вообра- „женіе. Этого симпатичнаго поэтического человѣка, „выходившаго по ночамъ переключаться съ Іерони- „момъ и пересыпавшаго свои акаѣисты цвѣтами, „звѣздами и лучами солнца, не понятаго и одинокаго, „я представляю себѣ робкимъ, блѣднымъ, съ мягкими, „кроткими и грустными чертами лица. Въ его гла- „захъ, рядомъ съ умомъ, должна свѣтиться ласка и „та едва сдерживаемая дѣтская восторженность, какая „мнѣ слышалась въ голосѣ Іеронима, когда тотъ при- „водилъ мнѣ цитаты изъ акаѣистовъ...“

Но не только удалившіеся отъ жизни монахи-созерцатели, какъ Николай и Іеронимъ, ищутъ въ Богѣ оправданія и смысла бытія.

Вотъ обыкновенный приходскій священникъ старикъ, о. Христофоръ, (повѣсть „Степь“), погруженный въ „быть“, и „бытомъ“ со всѣхъ сторонъ окутанный, какъ паутиной, который не имѣетъ „дара писать акаѣисты“, не умѣетъ „жадно ловить красоту святой фразы“, и даже отправляется въ длинную поѣзду съ „коммерческими цѣлями“ — ѣдетъ съ купцомъ Кузьмичовымъ продавать партію овечьей шерсти, принадлежащую его зятю, — благодушный о. Христофоръ, по характеру и по складу жизни несклонный къ сосредоточенной мистикѣ, весь свѣтится миромъ и

радостью. Радостенъ онъ не потому только, что его жизнь сложилась благополучно и не задѣвали его никакія потрясенія; радость даютъ ему вѣра и непоколебимая преданность Высшей Волѣ. Не боится онъ и смерти, спокойно ждетъ ея приближенія: развѣ можетъ онъ, хоть на минуту, усумниться въ безсмертіи души или въ существованіи Бога?

Если ему кто-нибудь скажетъ, что Бога нѣтъ, то онъ, какъ Варвара, жена Цыбукина („Въ Оврагѣ“), „посмотритъ съ удивленіемъ, засмѣется и всплеснетъ руками“.

„Мнѣ-то собственно нечего Бога гнѣвить, я достигъ предѣла своей жизни, какъ дай Богъ всякому“... — говоритъ о. Христофоръ... — Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучатъ радуюсь, да Богу молюсь, а больше мнѣ ничего и не надо... и теперь ежели-бъ, скажемъ, царь спросилъ: „Что тебѣ надобно? Чего хочешь?“ „Да ничего мнѣ не надобно! Все у меня есть, и все слава Богу. Счастливѣй меня во всемъ городѣ челоуѣкъ нѣтъ. Только вотъ грѣховъ много, да вѣдь и то сказать, одинъ Богъ безъ грѣха... Ну, конечно, зубовъ нѣтъ, спину отъ старости ломить, то да се... одышка и всякое тамъ... Болѣю, плоть немощна, но, да вѣдь, самъ посуди, пожилъ! Восьмой десятокъ! Не вѣкъ же вѣковать, надо и честь знать.“

И во время длиннаго путешествія по степи о. Христофоръ, не меньше, если не больше мальчика Егорушки, радуется всему — и природѣ, и солнцу, и людямъ и новымъ впечатлѣніямъ. Радость бытія даже превозмогаетъ въ немъ физическую усталость. Онъ отправился въ поѣздку вовсе не для наживы, которая его совсѣмъ не занимаетъ, а именно ради сопрокосновенія съ Божьимъ міромъ, который онъ такъ любитъ.

Бричка ѣдетъ по степи въ жаркій день; смѣняются однообразныя картины:

„Опять тянется выжженная равнина, загорѣлые холмы, знойное небо, опять носится надъ землею коршунъ. Вдали попрежнему машетъ крыльями мельница, и все еще она похожа на маленькаго чело-вѣчка, размахивающаго руками. Надоѣло смотрѣть на нее, и кажется, что до нея никогда не доѣдешь, что она бѣжитъ отъ брички. О. Христофоръ и Кузьмичовъ молчали. Дениска стегалъ по гнѣдымъ и покрикивалъ, а Егорушка... равнодушно смотрѣлъ по сторонамъ. Зной и степная скука утомили его... Съ лица дяди мало-по-малу сошло благодушiе и осталась одна дѣловая сухость... Отецъ же Христофоръ не переставалъ удивленно глядѣть на мiръ Божiй и улыбаться. Молча онъ думалъ о чемъ то хорошемъ и веселомъ, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лицѣ.“

Днемъ послѣ привала въ степи и сна подъ бричкой, о. Христофоръ просыпается „съ такою же улыбкой, съ какою уснулъ“. „Умывшись и одѣвшись, онъ не спѣша вытащилъ изъ кармана маленькiй засаленный псалтырь и, ставъ лицомъ къ востоку, началъ шепотомъ читать и креститься.“

„— О. Христофоръ! — сказалъ укоризненно Кузьмичовъ. — Пора ѣхать, ужъ лошади готовы, а вы ей-Богу...“

„— Сейчасъ, сейчасъ... забормоталъ о. Христофоръ. — Каѳизмы почитать надо... Не читалъ еще нынче.“

„— Можно и послѣ съ каѳизмами.“

„— Иванъ Ивановичъ, на каждый день у меня положенiе... Нельзя.“

„— Богъ не взыскалъ бы.“

„Цѣлую четверть часа Христофоръ стоялъ неподвижно лицомъ къ востоку и шевелилъ губами, а Кузьмичовъ почти съ ненавистью глядѣлъ на него и нетерпѣливо пожималъ плечами. Особенно

„же его сердило, когда о. Христофоръ послѣ каждой „славы, втягивалъ въ себя воздухъ, быстро крестился „и намѣренно громко, чтобъ другіе крестились, говори́лъ трижды:

„— Аллилуя, аллилуя, аллилуя слава Тебѣ, Боже!

„Наконецъ, онъ улыбнулся, поглядѣлъ вверхъ на „небо и, кладя псалтырь въ карманъ, сказалъ:

„— Fini!

„Черезъ минуту бричка тронулась въ путь.“

Благодушіе и веселость никогда не покидаютъ о. Христофора. Послѣ молитвы онъ шутить и улыбается, чтобы отогнать и отъ другихъ людей озабоченность, хмурость.

Если ему радостно въ степи, и въ бричкѣ, и на остановкахъ, то еще радостнѣе въ церкви. Когда они приѣзжаютъ въ большой городъ, и на другой день о. Христофоръ идетъ въ соборъ къ обѣднѣ, то онъ приноситъ оттуда съ собою всю полноту своего счастья, того счастья, которое, по словамъ Чехова, даетъ ему „лучезарное“ состояніе духа. Когда Его-рушка, наканунѣ было прихворнувшій, утромъ послѣ долгаго сна „умывшись, надѣвалъ кумачевую рубаху, „вдругъ щелкнулъ въ дверяхъ замокъ, и на порогѣ „показался о. Христофоръ въ своемъ цилиндрѣ съ „посохомъ и въ шелковой коричневой рясѣ поверхъ „парусиноваго кафтана. Улыбаясь и сіяя (старики, „только что вернувшіеся изъ церкви, всегда выпуска-„ютъ сіяніе), онъ положилъ на столъ просфору и „какой-то свертокъ, помолился и сказалъ:

„— Богъ милости прислалъ! Ну, какъ здоровье?“

Ему хочется чѣмъ то побаловать мальчика, который вчера былъ боленъ и котораго оставлятъ одного у чужихъ людей учиться въ чужомъ городѣ. Онъ не только съ нимъ ласковъ, но заботливо нѣженъ и когда растираетъ его уксусомъ и масломъ, укладываетъ въ постель и крестить, и когда угова-

риваетъ его хорошо учиться въ школѣ. Въ устахъ о. Христофора наставленія не звучатъ сухимъ назиданіемъ. Онъ самъ хорошо учился и съ удовольствіемъ вспоминаетъ свои школьные годы, съ увлеченіемъ говоритъ мальчику: „... И старайся такъ, „чтобъ всѣ науки выучить. Иной математику знаетъ „отлично, а не можетъ про луну объяснить. Нѣтъ, „ты такъ учишься, чтобъ все понимать! Выучись по- „латински, по-французски, по-нѣмецки... геогра- „фію, конечно, исторію, богословіе, философію, ма- „тематику. А, когда всему выучишься, не спѣша, да „съ молитвою, да съ усердіемъ, тогда и поступай на „службу. Когда все будешь знать, тебѣ на всякой „стезѣ легко будетъ, ты только учишься, да благодати „набирайся, а ужъ Богъ укажетъ, кѣмъ тебѣ быть. „Докторомъ ли, судьей ли, инженеромъ ли... Надо „воспринимать только то, что Богъ благословилъ. „Ты соображайся... Святые апостолы говорили на „всѣхъ языкахъ — и ты учи языки; Василій Вели- „кій училъ математику и философію — и ты учи; „святый Несторъ писалъ исторію — и ты учи и пиши „исторію. Со святыми соображайся... Только ты „смотри, Георгій. Боже тебя сохрани, не забывай „матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велитъ „заповѣдь, а Иванъ Ивановичъ тебѣ благодѣтель и „вмѣсто отца. Ежели ты выйдешь въ ученые и, не „дай Богъ, станешь тяготиться и пренебрегать людьми „по той причинѣ, что они глупѣе тебя, то горе, горе „тебѣ!“

Прощаясь съ Егорушкой, старикъ испытываетъ чувство грусти и жалости къ этому чужому ему мальчику, который въ свою очередь огорчается разлукой съ нимъ гораздо больше, чѣмъ съ дядей Иваномъ Ивановичемъ.

„О. Христофоръ вздохнулъ и, не спѣша, благо- „словилъ Егорушку.

„— Во имя Отца и Сына Святаго Духа . . .

„— Учись, — сказалъ онъ. — Трудись, братъ . . .

„Ежели помру, поминай . . . .

„Егорушка поцѣловалъ ему руку и заплакалъ.

„Что-то въ душѣ шепнуло ему, что уже онъ больше „никогда не увидится съ этимъ старикомъ.“

Благодушіе и ласковость о. Христофора распространяются на всѣхъ людей, на весь міръ. Даже въ минуту возмущенія онъ не можетъ быть рѣзкимъ и обидѣть человѣка. На остановкѣ у содержателя постоялаго двора, еврея Моисея Моисеича, путешественники вступаютъ въ разговоръ съ его братомъ, Соломономъ, существомъ въ высшей степени озлобленнымъ и, видимо, не совсѣмъ нормальнымъ. Соломонъ больше всего на свѣтѣ ненавидитъ подчиненность и униженіе и за это же ненавидитъ своихъ соплеменниковъ-евреевъ.

Когда Соломонъ „голосомъ, глухимъ и сиплымъ отъ душившей его ненависти, заговорилъ объ евреяхъ“, о. Христофоръ его перебилъ:

„— Постой . . . Если тебѣ твоя вѣра не нравится, „такъ ты ее перемѣни, а смѣяться грѣхъ; тотъ послѣдній человѣкъ, кто надъ своей вѣрой глумится.

„— Вы ничего не понимаете! — грубо оборвалъ „его Соломонъ. — Я вамъ говорю одно, а вы другое . . .

„— Вотъ и видно сейчасъ, что ты глупый человекъ, — вздохнулъ о. Христофоръ. — Я тебя наставляю, какъ умѣю, а ты сердишься. Я тебѣ по-стариковски, потихоньку, а ты, какъ индюкъ: бла-бла-бла. Чудакъ, право . . .“

И вошедшему въ комнату Моисею Моисевичу, испуганному озлобленно возбужденнымъ видомъ и тономъ своего брата, который позволяетъ себѣ дерзко разговаривать съ его постояльцами, о. Христофоръ, безъ всякой обиды замѣчаетъ:

„— Какой-то онъ у васъ бѣсноватый, Моисей „Моисейчъ, Богъ съ нимъ! — Вы бы его пристроили „куда-нибудь, или женили, что ли . . . На человѣка „не похожъ . . .“

Во время этой сцены Кузьмичовъ „сердито нахмурился“, Моисей Моисейчъ „встревоженно и пытливо“ смотритъ на брата и на гостей, и только у о. Христофора не сходитъ мягкая улыбка съ его незлобиваго лица . . .

Бываютъ и отъ природы благодушные люди, всѣмъ довольные; но такое чисто фізіологическое благодушіе, создаваемое жизненнымъ покоемъ, хорошимъ здоровьемъ, почти всегда сбивается на пошлое самодовольство. У о. Христофора его ощущеніе счастья и сознанія, что „счастливѣй“ его „во всемъ городѣ человѣка нѣтъ“, покоится на глубокомъ религіозномъ фундаментѣ всей его жизни и его міросозерцанія. Онъ, несомнѣнно, и умирать будетъ спокойно, съ благодарностью Богу за свое счастье, съ твердымъ сознаніемъ, что его часъ пришелъ и „не вѣкъ же вѣковать“ . . . А непоколебимая вѣра въ любовь, въ милосердіе Божіе и въ вѣчную жизнь освѣтятъ и его послѣдній сонъ такою же улыбкой, съ которой онъ засыпалъ и пробуждался во время приваловъ въ степи.

Не менѣе стараго о. Христофора, свѣтель, сіяюще жизнерадостенъ и молодой двадцатидвухлѣтній дьяконъ въ „Дуэли“. Ему всегда весело, онъ даже смѣшливъ и очень любитъ смѣяться, но въ его смѣхѣ нѣтъ ни пошлости, ни раздраженнаго отношенія къ людямъ. У дьякона чистая, дѣтски воспріимчивая душа, онъ любознателенъ, съ интересомъ слушаетъ научныя и философскія разсужденія зоолога фонъ-Корена, думаетъ самъ, разбираясь въ жизни, въ людяхъ, въ ихъ отношеніяхъ другъ къ другу. Но никакія размышленія, ни его собственныя, ни



чужія, не могутъ нарушить его внутренняго равновѣсія. Крѣпкимъ фундаментомъ лежитъ у дьякона въ его сердцѣ и сознаніи вѣра въ Бога. Научно-философскіе доводы фонъ-Корена разбиваются объ эту вѣру, какъ о каменный утесъ. И вѣра же даетъ ему широкую терпимость къ инакомыслящимъ. Онъ не отворачивается отъ невѣрующихъ, пытается вникнуть въ моральныя основы ихъ поступковъ и поведенія, искренно цѣнитъ ихъ хорошія качества, снисходитъ къ недостаткамъ и все покрываетъ своей жалостью ко всякой человѣческой душѣ. Дьяконъ, подобно о. Христофору, всѣмъ внушаетъ симпатію къ себѣ; съ нимъ легко и пріятно каждому. Даже тяжелый и нетерпимый къ людямъ фонъ-Коренъ, считающій, что вредныхъ представителей человѣческой расы нужно просто уничтожать, въ присутствіи дьякона смѣется свѣтлымъ смѣхомъ и говоритъ ему: „люблю я съ вами разговаривать“.

Фонъ-Коренъ развиваетъ передъ дьякономъ тѣ научно-философскія теоріи, которыя казались когда-то столь неопровержимо убѣдительными почти всѣмъ и каждому, и подъ вліяніемъ которыхъ, несомнѣнно, слагалось и міровозрѣніе Чехова . . .

„Гуманитарныя науки, говоритъ онъ, . . . тогда „только будутъ удовлетворять человѣческую мысль, „когда въ движеніи своемъ онѣ встрѣтятся съ точными науками и пойдутъ съ ними рядомъ. Встрѣтятся ли онѣ съ ними подъ микроскопомъ или въ „монологѣхъ новаго Гамлета или въ новой религіи, „я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной „корой раньше, чѣмъ это случится. Самое стойкое „и живучее изъ всѣхъ гуманитарныхъ знаній, это, „конечно, ученіе Христа, но, посмотрите, какъ даже „оно различно понимается! Одни учатъ, чтобы мы „любили всѣхъ ближнихъ, и дѣлаютъ при этомъ „исключеніе для солдатъ, преступниковъ и безум-

„ныхъ: первыхъ они разрѣшаютъ убивать на войнѣ, вторыхъ изолировать, или казнить, а третьимъ запрещаютъ вступленіе въ бракъ. Другіе толкователи учатъ любить всѣхъ ближнихъ безъ исключенія . . . По ихъ ученію, если къ вамъ приходитъ бугорчатый или убійца или эпилептикъ и сватаетъ вашу дочь — отдавайте; если кретины идутъ войной на физически и умственно здоровыхъ — подставляйте головы. Эта проповѣдь любви ради любви, какъ искусства ради искусства, если бы могла имѣть силу, въ концѣ концовъ, привела бы человѣчество къ полному вымиранію и такимъ образомъ совершилось бы грандіознѣйшее изъ злодѣйствъ, какія когда-либо бывали на землѣ. Толкованій очень много, а если ихъ много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни однимъ изъ нихъ и къ массѣ всѣхъ толкованій спѣшитъ прибавить свое собственное. Поэтому ни когда не ставьте вопроса, какъ вы говорите, на философскую или такъ называемую христіанскую почву; этимъ вы только отдаляетесь отъ рѣшенія вопроса.

„Дьяконъ внимательно выслушалъ зоолога, подумалъ и спросилъ:

„— Нравственный законъ, который свойствененъ каждому изъ людей, философы выдумали, или же его Богъ создалъ вмѣстѣ съ тѣломъ?

„— Не знаю. Но этотъ законъ до такой степени общъ для всѣхъ народовъ, что, мнѣ кажется, его слѣдуетъ признать органически связаннымъ съ человѣкомъ. Онъ не выдуманъ, а есть и будетъ. Я не скажу вамъ, что его когда-нибудь увидятъ подъ микроскопомъ, но органическая его связь уже доказывается очевидностью: серьезное страданіе мозга и всѣ такъ-называемыя душевныя болѣзни выражаются прежде всего въ извращеніи нравственного закона, насколько мнѣ извѣстно.

„— Хорошо-съ. Значить, какъ желудокъ хочетъ ѣсть, такъ нравственное чувство хочетъ, чтобы мы любили своихъ ближнихъ. Такъ? Но естественная природа наша по себялюбію противится голосу совѣсти и разума, и потому возникаетъ много головоломныхъ вопросовъ. Къ кому же мы должны обращаться за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ, если вы не велите ставить ихъ на философскую почву?

„— Обратитесь къ тѣмъ немногимъ точнымъ знаніямъ, какія у насъ есть. Довѣрьтесь очевидности логики и фактовъ. Правда, это скудно, но зато не такъ зыбко и расплывчато, какъ философія...“ — отвѣчаетъ фонъ-Корень, и дальше развиваетъ свою мысль о томъ, что настоящая любовь къ людямъ должна заключаться въ устраненіи, нравственно и физически ненормальныхъ, со стороны которыхъ „человѣчеству грозитъ опасность“, что преобладаніе слабыхъ разлагаетъ культуру и „что, въ сущности, слабые, а не сильные распяли Христа. Если съ ненормальными нельзя бороться и возвысить ихъ до нормы, то ихъ слѣдуетъ уничтожить“.

— „Но какой у васъ есть критеріумъ для различенія сильныхъ и слабыхъ?“ спрашиваетъ дьяконъ.

— „Знаніе и очевидность. Бугорчатыхъ и золотушныхъ узнаютъ по ихъ болѣзнямъ, а безнравственныхъ и сумасшедшихъ по ихъ поступкамъ“.

— „Но вѣдь возможны ошибки!

— „Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожаетъ потопъ.

— „Это философія, — засмѣялся дьяконъ.

Разговоръ продолжается, впрочемъ, говоритъ почти одинъ фонъ Корень, а дьяконъ только слушаетъ его. Въ его уста авторъ не влагаетъ возраженій противъ той „гуманитарной любви“ и того „гуманитарнаго добра“, которыя видъ Бога и безъ

Бога въ сущности не имѣютъ никакой цѣны и, конечно, въ результатъ могутъ быть сведены, какъ у фонъ Корена, къ необходимости насильственнымъ путемъ произвести отборъ сильныхъ и уничтожить всѣхъ выродившихся и негодныхъ; но могутъ быть сведены и къ другому: полнѣйшему безразличію къ судьбѣ, какъ отдѣльнаго человѣка, такъ и всего человѣческаго рода, ибо все равно каждому ждетъ смерть, а человѣчеству въ его цѣломъ, тоже рано или поздно, угрожаетъ гибель, такъ какъ „земля покроется ледяной корой“. На этой послѣдней точкѣ зрѣнія принципиальнаго невмѣшательства въ теченіе жизни и на абсолютномъ непротивленіи, даже сравнительно легко устранимому, злу стоитъ, какъ мы увидимъ дальше, герой другой повѣсти Чехова, докторъ Андрей Ефимычъ („Палата № 6“).

Дьяконъ даетъ до конца высказаться зоологу и лишь, когда тотъ заявляетъ, что „Христось, надѣюсь, заповѣдалъ намъ любовь разумную, осмысленную и полезную“, дьяконъ говоритъ:

„— Въ Христа же вы не вѣруете, зачѣмъ же вы Его такъ часто упоминаете“?

„— Нѣтъ, вѣрую. Но только, конечно, по-своему, а не по вашему“, отвѣчаетъ ему фонъ-Корень.

И опять дьяконъ не вступаетъ въ серьезныя разсужденія. Онъ не пытается объяснить своему собесѣднику, что такое настоящая вѣра и настоящая любовь Христова, не имѣющія ничего общаго съ утилитарными теоріями гуманизма, съ сентиментальнымъ его устремленіемъ къ расплывчатому понятію неопредѣлимаго „добра“, или съ жестокимъ убѣжденіемъ фонъ Корена, что „зло“ слѣдуетъ устранить путемъ систематическаго истребленія „недобрыхъ“.

Дьяконъ знаетъ, что вѣра въ бытіе Божіе не можетъ быть сообщена человѣку никакими разсужде-

ніями и доказательствами. Онъ, приводитъ ему только фактъ вѣры.

„— Вы говорите — у васъ вѣра.... Какая это вѣра? А вотъ у меня есть дядька попъ, такъ тотъ такъ вѣритъ, что когда въ засуху идетъ въ поле дождя просить, то беретъ съ собой дождевой зонтикъ и кожаное пальто, чтобы его на обратномъ пути дождикъ не промочилъ. Вотъ это вѣра! Когда онъ говоритъ о Христѣ, такъ отъ него сіяніе идетъ, и всѣ бабы и мужики навзрыдъ плачуть. Онъ бы и тучу эту остановилъ и всякую бы силу обратилъ въ бѣгство. Да... Вѣра горами двигаетъ“.

„Дьяконъ засмѣялся и похлопалъ зоолога по плечу.

„— Такъ то... — продолжалъ онъ. — Вотъ вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабыхъ да сильныхъ, книжки пишите и на дуэли вызываете — и все остается на своемъ мѣстѣ, а, глядишь, какой-нибудь слабенъкій старецъ Святымъ Духомъ пролепечетъ одно только слово, или изъ Аравіи прискачетъ на конѣ новый Магометъ съ пашкой, и полетитъ у васъ все вверхъ тармашкой, и въ Европѣ камня на камнѣ не останется.

„— Ну это, дьяконъ, на небѣ вилами писано!“

„— Вѣра безъ дѣла мертва есть“, а дѣла безъ вѣры, — еще хуже, одна только трата времени и больше ничего“.

Во всей повѣсти это почти единственный философскій разговоръ, который поддерживаетъ дьяконъ. Мы видимъ его разглядывающимъ коллекціи фонъ-Корена, дѣлающимъ какія-то выписки для него изъ научныхъ книгъ, но видимъ дьякона и на пикникѣ и даже пробравшимся въ кусты къ мѣсту дуэли, куда его влечетъ наивное юношеское любопытство. Въ своей мокрой отъ росы рясѣ онъ даже коми-

ченъ, но, впрочемъ, только до той минуты, когда видъ наведеннаго фонъ-Кореномъ на своего противника пистолета не исторгаетъ у него отчаяннаго крика: „Онъ убьетъ его!“

Этотъ крикъ, заставившій своей неожиданностью дрогнуть руку фонъ-Корена, въ сущности и спасаетъ жизнь Лаевскому.

И дьяконъ, „блѣдный, съ мокрыми, прилипшими ко лбу и щекамъ волосами, весь мокрый и грязный,“ уже не смѣшонъ послѣ благополучно закончившейся дуэли. При всемъ своемъ уваженіи къ ученому зоологу, онъ взволнованно замѣчаетъ ему:

„— Мнѣ показалось, что вы хотѣли его убить... „Какъ это противно природѣ человѣческой! До „какой степени это противоестественно!“

На вопросъ фонъ-Корена, какъ онъ сюда попалъ, „дьяконъ отвѣчаетъ: „Нечистый попуталь: иди, да „иди... Вотъ я и пошелъ, и чуть въ кукурузѣ не „померъ отъ страха. Но теперь, слава Богу, слава „Богу“... И дьяконъ уже счастливъ, что все раз- „рѣшилось благополучно“, и онъ готовъ опять весело смѣяться, лишь бы не донесли на него начальству, что онъ присутствовалъ на дуэли: „скажутъ: дьяконъ секундантомъ былъ“.

Однако его веселое настроеніе перебивается ужасомъ отъ мысли, что вотъ-вотъ едва не совершилось убійство и опять онъ, вздохнувъ, повторяетъ фонъ-Корену:

„— Какъ это противно природѣ человѣческой!.. „Извините меня великодушно, но у васъ такое было „лицо, что я думалъ, что вы непременно его убьете“.

Лицо, выражающее жестокою готовностью уничтожить своего ближняго, — вотъ, что крѣпче всякихъ разсужденій, укореняетъ дьякона въ сознаніи, что

правда не на сторонѣ фонъ-Корена со всей его наукой, а на сторонѣ того священника, который, идя въ засуху служить молебень, беретъ съ собой зонтикъ и кожаное пальто, а о Христѣ говоритъ такъ, что „отъ него сіяніе идетъ, и всѣ бабы и мужики навзрыдъ плачутъ“.

Дальнѣйшее развитіе дѣйствія повѣсти опровергаетъ утвержденіе фонъ-Корена, что „знаніе и очевидность“ даютъ возможность опредѣлить тѣхъ, кто за негодностью долженъ быть уничтоженъ и подтверждаетъ правду дьякона, говорившаго: „Но вѣдь возможны ошибки!“

То, что послѣ дуэли случилось съ Лаевскимъ и Надеждой Федоровной, — ихъ въ корнѣ измѣнившаяся жизнь, — колеблетъ упорство фонъ-Корена, въ душѣ котораго холодно брезгливое отвращеніе къ этимъ людямъ, уступаетъ мѣсто жалости, сочувствію и даже невольному уваженію. И вотъ, когда фонъ-Корень, передъ тѣмъ какъ сѣсть на пароходъ, увозящій его изъ приморскаго городка, идетъ проститься со своими бывшими врагами, никто больше дьякона не торжествуетъ въ эту минуту. Пусть эти люди еще не знаютъ по настоящему Бога, и по настоящему еще не вѣруютъ въ Него, но подлинная христіанская правда уже очистила, смягчила и побѣдила ихъ души, уже затеплила въ нихъ искру не отвлеченно-гуманитарной, а истинной Христовой любви.

„— Какіе люди! — говорилъ дьяконъ вполголоса, „идя сзади. — Боже мой, какіе люди! Воистину „десница Божія насадила виноградъ сей! Господи! „Господи! Одинъ побѣдилъ тысячи, а другой тьмы... — „Николай Васильевичъ, — сказалъ онъ восторженно: „— знайте, что сегодня вы побѣдили величайшаго „изъ враговъ человѣческихъ — гордость!“

Но фонъ-Корень еще далекъ отъ того, чтобы понять внутренній смыслъ смиренной христіанской по-

бѣды надъ собой, о которой, привычными съ семинаріи, библейскими выраженіями говорить дьяконъ, и онъ отвѣчаетъ:

„— Полно, дьяконъ! Какіе мы съ нимъ побѣдители? Побѣдители орлами смотрятъ, а онъ жалокъ, „робокъ, забить, кланяется, какъ китайскій болванчикъ, а мнѣ . . . мнѣ грустно.“

Однако самъ Чеховъ, хорошо понималъ о какой побѣдѣ говорилъ дьяконъ. Вся повѣсть „Дуэль“ есть разсказъ о грѣхѣ и о побѣдѣ надъ нимъ. Это произведеніе Чехова съ большимъ правомъ, нежели романъ Толстого, могло бы быть названо „Воскресеніемъ“. Но Чеховъ былъ скромнень и застѣнчивъ. Больше всего онъ не выносилъ многозначительныхъ названій, громкихъ словъ. Въ „Дуэли“, на примѣръ, ни разу не упоминается слово „покаяніе“; ничего не говорится о просвѣтленіи души пробужденной совѣстью. . . Между тѣмъ, въ нашей свѣтской литературѣ едва ли кѣмъ съ такой глубочайшей художественной простотой и силой было изображено почти мгновенное внутреннее преображеніе человѣка именно силою покаянія.

До какого-то момента своей жизни Лаевскій былъ распущенъ и распутенъ; лѣнивъ, нервически придирчивъ къ людямъ и обстоятельствамъ; склоненъ всѣхъ и во всемъ обвинять, кромѣ самого себя; раздражительно нетерпимъ къ той правдѣ, которую ему высказывалъ добрый, расположенный къ нему докторъ Самойленко. Онъ жаловался на судьбу, считалъ, что въ немъ заложены, быть можетъ, большія возможности, которымъ судьба не дала выявиться; скверно малодушничалъ и готовъ былъ даже на нечестный поступокъ: потихоньку уѣхать, бросивъ соблазненную имъ чужую жену именно въ то время, когда онъ, Лаевскій, узналъ, что ея мужъ умеръ, о чемъ она сама не знаетъ еще и, слѣдовательно, та-



кого рода бѣгствомъ можно будетъ избѣжать „предписываемой порядочностью“ женитьбы, ему уже непріятной теперь, ибо эта женщина ему наскучила, раздражаетъ его каждымъ своимъ словомъ и жестомъ. Лаевскій живетъ въ маленькомъ приморскомъ городкѣ, получая жалованье за службу, которой онъ совершенно не выполняетъ; живетъ не по средствамъ, дѣлая долги безъ надежды ихъ когда-нибудь уплатить . . . И, чѣмъ ниже онъ опускается, тѣмъ становится заносчивѣе съ людьми. И вотъ фонъ-Корень вызываетъ его на дуэль. Дуэль должна состояться завтра. А наканунѣ Лаевскій застаётъ женщину, съ которой онъ живетъ, на любовномъ свиданіи съ приставомъ Кирилиномъ. Надежда Федоровна не любитъ Кирилина, но она запуталась, опустилась и идетъ на свиданіе только изъ страха передъ Кирилиномъ, угрожающимъ ей разоблачить ея мимолетные „романы“, являющіеся слѣдствіемъ дурного кокетства и запутанныхъ матеріальныхъ дѣлъ, скрываемыхъ ею отъ Лаевского.

Передъ XVII-ой главой повѣсти „Дуэль“ Чеховъ поставилъ эпиграфъ изъ Пушкина — нѣсколько строкъ его замѣчательной элегіи „Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день“ . . . Ею особенно восхищался Розановъ, читалъ и перечитывалъ ее безъ конца. Она является настоящимъ „покаяннымъ псалмомъ“ Пушкина.

. . . въ умѣ подавленномъ тоской,  
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ,  
Воспоминаніе безмолвно предо мной  
Свой длинный развиваетъ свитокъ.  
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
Но строкъ печальныхъ не смываю.

Чтобы „трепетать“ отъ „отвращенія“ и горечи передъ лицомъ своего прошлаго, необходимо чтобы въ человѣческомъ сердцѣ вспыхнулъ внезапно озаряющій его свѣтъ, непохожій на обычную контролирующую работу нашего сознанія. Только какая то внѣ насъ пребывающая сила и можетъ его зажечь изъ своего источника. Не потому ли и любилъ Пушкинъ молитву Ефрема Сирина, ту,

... которую священникъ повторяетъ  
во дни печальные Великаго поста,

что въ ней и выражена мольба о дарованіи озаряющаго сердце свѣта: „даруй мнѣ зрѣти моя прегрѣшенія“ или, какъ сказано въ переложеніи Пушкина, —

„Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, прегрѣшенья.

Лаевскій до сихъ поръ не видѣлъ своихъ „прегрѣшеній“. Толчкомъ къ „видѣнію“ явилась мысль о смерти. Но не одна только эта мысль. Наканунѣ дуэли и вообще всякой опасности, люди, наоборотъ, часто склонны бываютъ себя жалѣть и себя оправдывать во всемъ, именно потому что имъ хочется жить. И они въ ужасѣ внутренно какъ-то зажимаются, представляя себѣ собственный конецъ, и въ то же время не будучи въ состояніи реально его представить.

Но Лаевского жизнь не привлекаетъ. Раньше смерти физической, онъ уже ощутилъ въ себѣ другую смерть, „смерть заживо“:

„Убьютъ ли его завтра утромъ, или посмѣются надъ нимъ, то есть оставятъ ему эту жизнь, онъ все равно погибъ. Убьетъ ли себя съ отчаянія и стыда эта опозоренная женщина, или будетъ влачить свое жалкое существованіе, она все равно погибла ...

„Такъ думалъ Лаевскій, сидя за столомъ поздно вечеромъ.“

Порывъ вѣтра отворяетъ окно и срываетъ со стола бумаги. Онъ встаетъ изъ за стола и вдругъ ощущаетъ въ своемъ тѣлѣ „что-то иное, какую-то неловкость, которой раньше не было“, онъ „не узнаетъ своихъ движеній“. Тѣло его потеряло гибкость“.

Онъ могъ бы, казалось, съ этимъ ощущеніемъ подавленности и раздавленности своей досидѣть до утра. Но внутренняя работа въ немъ уже началась.

Какъ сквозь пріоткрытыя ставни, проникаютъ въ его душу сначала первые, еще слабые, лучи озаренія, и при ихъ свѣтѣ онъ не сразу находитъ въ себѣ то, что ему нужно найти; но свѣтъ становится все ярче.

„Наканунѣ смерти надо писать къ близкимъ „людямъ. Лаевскій помнилъ объ этомъ. Онъ взялъ перо и написалъ дрожащимъ почеркомъ:

„Матушка!“

„Онъ хотѣлъ написать матери, чтобы она во имя „милосерднаго Бога, въ котораго она вѣруетъ, дала „бы пріютъ и согрѣла лаской несчастную обезцѣвленную имъ женщину, одинокую, нищую, слабую, „чтобы она забыла и простила все, все, все и жертвою хотя отчасти искупила грѣхъ сына; но онъ „вспомнилъ, какъ его мать, полная грузная старуха, „въ кружевномъ чепцѣ, выходитъ утромъ изъ дома „въ садъ, а за нею идетъ приживалка съ болонкой, „какъ мать кричитъ повелительнымъ голосомъ на „садовника и на прислугу, и какъ гордо, надменно „ея лицо, — онъ вспомнилъ объ этомъ и зачеркнулъ „написанное слово“.

Въ этотъ моментъ начинается гроза. Вспыхиваютъ яркія молніи, оглушительно гремитъ громъ.

Лаевскій подходитъ къ окну и припадаетъ лбомъ къ стеклу, любуясь грозой.

„... онъ чувствовалъ желаніе молиться кому-нибудь, „или чему-нибудь<sup>1)</sup>, хотя бы молніи или тучамъ. — „Милая гроза!

„Онъ вспомнилъ, какъ въ дѣтствѣ во время грозы „онъ съ непокрытой головой выбѣгалъ въ садъ, а „за нимъ гнались двѣ бѣловолосыя дѣвочки съ „голубыми глазами, и ихъ мочилъ дождь, но когда „раздавался сильный ударъ грома, дѣвочки довѣр- „чиво прижимались къ мальчику, онъ крестился и „спѣшилъ читать: „Святъ, святъ, святъ...“ О, „куда вы ушли, въ какомъ вы морѣ утонули зачатки „прекрасной чистой жизни? Грозы ужъ онъ не „боится и природы не любитъ. *Бога у него нѣтъ*<sup>2)</sup>, „всѣ довѣрчивыя дѣвочки, какихъ онъ зналъ когда- „либо, уже сгублены имъ и его сверстниками, въ „родномъ саду онъ за всю свою жизнь не посадилъ „ни одного деревца и не выросилъ ни одной травки, „а, живя среди живыхъ, не спасъ ни одной мухи, а „только разрушалъ, губилъ и лгалъ, лгалъ...

„Что въ моемъ прошломъ не порокъ? — спра- „шивалъ онъ себя, стараясь уцѣпиться за какое- „нибудь свѣтлое воспоминаніе, какъ падающій въ „пропасть цѣпляется за кусты.

„Гимназія? Университетъ? Но это обманъ. Онъ „учился дурно и забылъ то, чему его учили. Слу- „женіе обществу? Это тоже обманъ, потому что на „службѣ онъ ничего не дѣлалъ, жалованье получалъ „даромъ и служба его — это гнусное казнокрадство, „за которое не отдають подъ судъ.

„Истина не нужна была ему, и онъ не искалъ ея, „его совѣсть, околдованная порокомъ и ложью,

---

1) Курсивъ нашъ.

2) Курсивъ нашъ.

„спала или молчала; онъ, какъ чужой, или нанятый  
„съ другой планеты, не участвовалъ въ общей  
„жизни людей, былъ равнодушенъ къ ихъ страда-  
„ніямъ, идеямъ, религіямъ, знаніямъ, исканіямъ,  
„борьбѣ, онъ не сказалъ людямъ ни одного добраго  
„слова, не написалъ ни одной полезной, не пошлой  
„строчки, не сдѣлалъ людямъ ни на одинъ грошъ,  
„а только ѣлъ ихъ хлѣбъ, пилъ ихъ вино, увозилъ  
„ихъ женъ, жилъ ихъ мыслями и, чтобы оправдать  
„свою презрѣнную, паразитную жизнь передъ ними  
„и самимъ собой, всегда старался придавать себѣ  
„такой видъ, какъ будто онъ выше и лучше ихъ.  
„Ложь, ложь, и ложь...

„Онъ ясно вспомнилъ то, что видѣлъ вечеромъ  
„въ домѣ Мюридова, и ему было невыносимо жутко  
„отъ омерзѣнія и тоски. Кирилинъ и Ачміановъ  
„отвратительны, но вѣдь они продолжали то, что  
„онъ началъ; они его сообщники и ученики. У  
„молодой слабой женщины, которая довѣряла ему  
„больше, чѣмъ брату, онъ отнялъ мужа, кругъ зна-  
„комыхъ и родину, и завезъ ее сюда — въ зной,  
„въ лихорадку и въ скуку; изо дня въ день она,  
„какъ зеркало, должна была отражать его праздность,  
„порочность и ложь — и этимъ, только этимъ, на-  
„полнялась ея жизнь, слабая, вялая, жалкая; потомъ  
„онъ пресытился ею, возненавидѣлъ, но не хватило  
„мужества бросить, и онъ старался все крѣпче  
„опутать ее лганьемъ, какъ паутиной... Остальное  
„додѣлали эти люди.

„Лаевскій то садился у стола, то опять отходилъ  
„къ окну; онъ то тушилъ свѣчу, то опять зажигалъ  
„ее. Онъ вслухъ проклиналъ себя, плакалъ, жало-  
„вался, просилъ прощенія; нѣсколько разъ въ  
„отчаяніи подбѣгалъ онъ къ столу и писалъ:

„Матушка!

„Кромѣ матери, у него не было никого родныхъ и близкихъ; но какъ могла помочь ему мать? И гдѣ она? Онъ хотѣлъ бѣжать къ Надеждѣ Федоровнѣ, чтобы пасть къ ея ногамъ, цѣловать ея руки и ноги, умолять о прощеніи, но она была его жертвой, онъ боялся ея, точно она умерла.

— Погибла жизнь!... — Зачѣмъ же я еще живъ, Боже мой!...“

Лаевскій не знаетъ, къ кому обращаться, у кого просить прощенія... Онъ *„чувствуетъ желаніе молиться“*<sup>1)</sup> кому нибудь, хотя бы молніи или тучамъ“.

Почему же не Богу, къ которому въ минуты отчаянія обращаются даже невѣрующіе люди? Считалъ ли Чеховъ такую молитву невозможной для интеллигентнаго человѣка ни при какихъ условіяхъ? Конечно, нѣтъ. Но онъ не считалъ возможнымъ говорить о ней, изображать ее въ опредѣленныхъ словахъ и чувствахъ, думается, не изъ ложнаго стыда, а отъ своей личной замкнутости, которой, онъ, Чеховъ, скрывалъ ту сложную и запутанную область своей души, гдѣ подсознательное ощущеніе близости Бога и Божественнаго Промысла въ мірѣ мучительно боролись съ самолюбивымъ сознаніемъ „научно мыслящаго“ и потому невѣрующаго человѣка. Но развѣ обращеніе Лаевского къ своему дѣтству, когда онъ, при ударахъ грома, крестился и произносилъ: „Святъ, святъ, святъ... — не есть тоже молитва? И эти слова: „о, куда вы ушли, въ какомъ вы морѣ утонули зачатки прекрасной чистой жизни... „и тоска о томъ, что „Бога у него нѣтъ“ — не есть ли уже зовъ къ Богу, застѣнчивый, робкій и еще слѣпой, но все же зовъ?

---

1) Курсивъ нашъ.

И когда отвращеніе къ себѣ нарастаетъ въ немъ до крайняго предѣла и ужасъ грѣха застилаетъ всякую надежду, не молитву ли, хотя и безъ вѣры въ свое спасеніе, хотя и бессознательно, слышимъ мы опять въ другихъ словахъ Лаевского:

„Если бы можно было вернуть прошлые дни и „годы, онъ ложь въ нихъ замѣнилъ бы правдой, „праздность — трудомъ, скуку — радостью, онъ „вернулъ бы чистоту тѣмъ, у кого взялъ ее, *нашелъ „бы Бога*<sup>1)</sup> и справедливость, но это такъ же невозможно, какъ закатившуюся звѣзду вернуть опять „на небо.“

И, несомнѣнно, ночь передъ дуэлью въ повѣсти Чехова есть изображеніе глубокаго и цѣлостнаго покаянія. Весь этотъ безпощадный самоанализъ Лаевского не имѣлъ бы никакой цѣны, если бы онъ не былъ доведенъ до смиреннаго, *чисто христіанскаго сознанія своего ничтожества*<sup>2)</sup>.

Это уже не интеллигентская гамлетовщина, въ которой самое слезливое самобичеваніе всегда смѣшано съ самолюбивымъ „но“: я каюсь, но попробуй только кто-нибудь со стороны сказать мнѣ, что я плохъ и никуда не годенъ!... Юный дьяконъ совершенно правъ, когда онъ говоритъ фонъ-Корену о побѣдѣ „величайшаго изъ враговъ человѣческихъ — гордости.“

Гордость свою Лаевскій сжегъ до пепла, и только благодаря этому въ его освобожденную отъ „ветхаго человѣка“ душу могла придти радость христіанской любви и христіанской готовности къ жертвѣ.

Покаяніе завершается въ моментъ его прощанья, передъ дуэлью, съ Надеждой Федоровной.

---

1) Курсивъ нашъ.

2) Курсивъ нашъ.

„Онъ постоялъ немного въ раздумьи и пошелъ въ спальню. Надежда Федоровна лежала въ своей постели, вытянувшись, укутанная съ головой въ пледъ... Глядя на нее молча, Лаевскій мысленно попросилъ у нея прощенія и подумалъ, что *если небо не пусто и въ самомъ дѣлѣ тамъ есть Богъ, то Онъ сохранитъ ее; если же Бога нѣтъ, то пусть она погибнетъ, жить ей не зачѣмъ!*“<sup>1)</sup>

Съ такой мыслю Лаевского можно только согласиться: „если Бога нѣтъ“, то пусть не одна Надежда Федоровна погибнетъ, но долженъ погибнуть каждый человѣкъ и весь міръ. Безъ Бога нѣтъ смысла и правды, и растоптанной бумажкой отъ копеечной конфеты, является все человѣческое „добро“ со всѣми его слѣпыми разсужденіями.

Фальшивомонетчикъ Анисимъ „Въ оврагѣ“ высказываетъ, лишь иначе ее формулируя, ту же мысль, что и Лаевскій: „... совѣсти мало въ людяхъ“... „И вся причина потому что не знаютъ, есть Богъ или нѣтъ“.

Надежда Федоровна не знаетъ о томъ, что произошло въ душѣ у Лаевского и потому, когда она видитъ его, входящаго въ ея комнату, то смотритъ на него „съ ужасомъ“:

„... Я ждала, что ты убьешь меня, или прогонишь изъ дома подъ дождь и грозу, а ты медлишь... медлишь...“

Она тоже раздавлена, уничтожена своимъ грѣхомъ. И ждетъ отъ Лаевского, передъ которымъ провинилась, любой кары, иногда при всей своей горечи дающей намъ своеобразное, не лишенное гордости, удовлетвореніе: — да, я виноватъ, но зато я и не протестую противъ наказанія за свою вину.—

---

1) Курсивъ нашъ.



И потому-то наказаніе часто и не очищаетъ отъ грѣха. Прощенный же грѣхъ, какъ подставленная „лѣвая щека“ послѣ удара по правой, можетъ сотрясти человѣческую душу до самаго основанія и этимъ ее очистить. И когда Лаевскій подходитъ къ ней, не какъ судья, а какъ виноватый, то этимъ самымъ онъ и въ ея душѣ попяляетъ послѣдніе остатки и гордости и совершеннаго ею грѣха.

Во взаимномъ покаяніи они оба находятъ то, чего до сихъ поръ не могли найти каждый въ отдѣльности, при всѣхъ мукахъ терзавшей ихъ совѣсти: силу жить дабы въ ихъ жизни „ложь замѣнилась правдой, праздность — трудомъ, скука — радостью“, дабы вернуть другъ другу чистоту душъ и въ этой чистотѣ „найти бы Бога“.

Лаевскій „всматриваясь ей въ лицо, понялъ, что „эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкій, родной и незамѣнимый человѣкъ.“

„Когда онъ, выйдя изъ дому, сѣлся въ коляску, „ему хотѣлось вернуться домой живымъ“.

Именно у Чехова, а не у Толстого, художественно изображено *воскресеніе души*. Разсудочное „раскаяніе“ Нехлюдова и разсудочное признаніе имъ своей вины передъ Катюшей Масловой, къ которой онъ испытываетъ лишь одну безглицую жалость и за которой готовъ слѣдовать на каторгу „во имя долга“ — ни въ какомъ смыслѣ не можетъ быть названо *воскресеніемъ*. Поступокъ Нехлюдова — порывъ „гуманиста“, руководимаго не Богомъ, не христіанскимъ чувствомъ, а „принципіальнымъ“ рѣшеніемъ дѣйствовать во имя совѣмъ не христіанскаго, а чисто человѣческаго, *надуманнаго* „добра“.

Толстой много и постоянно говорилъ о Богѣ. Чеховъ о Немъ только иногда упоминаетъ. Онъ и дальше не сообщаетъ намъ, увѣровалъ ли Лаевскій и какъ, во что онъ увѣровалъ. Но его „новая жизнь“,

о которой мы кратко и только издали узнаемъ изъ разговора доктора Самойленко и фонъ-Корена, не можетъ быть жизнью безъ Бога. Иначе не хватило бы силы ее вести у обоихъ — ни у Лаевского, ни у Надежды Федоровны.

Мы узнаемъ, что, вскорѣ послѣ дуэли, Лаевскій „перебрался въ трехъоконный домикъ, съ утра до „вечера сидитъ, все сидитъ и работаетъ“ — „долги „хочетъ выплатить“, а фонъ-Коренъ прежде испытывавшій къ Лаевскому почти что физическое отвращеніе говоритъ теперь:

„— Да, сильно онъ скрутилъ себя... Его свадьба, „эта цѣлдневная работа изъ за куска хлѣба, какое-„то новое выраженіе на его лицѣ и даже его походка — все это до такой степени необыкновенно, что я и „не знаю, какъ назвать это, — зоологъ взялъ Самойленко за рукавъ и продолжалъ съ волненіемъ въ „голосѣ: — Ты передай ему и его женѣ, что когда „я уѣзжалъ, я удивился имъ, желалъ всего хоро-„шаго... и попроси его, чтобы онъ, если это можно, „не поминалъ меня лихомъ. Онъ меня знаетъ. Онъ „знаетъ, что если бы я могъ тогда предвидѣть эту „перемѣну, то я могъ бы стать его лучшимъ другомъ.“

Перемѣнился въ существѣ своемъ Лаевскій и не перемѣнился Толстовскій герой „Воскресенія“, Нехлюдовъ. Всѣ заботы Нехлюдова о Катюшѣ — заботы благотворительнаго порядка, и потому, ни одной свѣтлой искры не зажгетъ онъ въ ея душѣ; онъ тяготится ею и она тяготится имъ — его „жертвой“ и его чисто благотворительной опекой надъ собой. И это не потому что Нехлюдовъ „баринъ“, а Катя — бывшая проститутка, а затѣмъ каторжанка, но потому что настоящей христіанской любви, смиренной и все забывающей въ прощеніи, не было въ Нехлюдовѣ, какъ не было и въ Толстомъ, несмотря на

весь его морализмъ и всѣ его религіозно-философскія разсужденія и религіозныя идеи.

Лаевскій переродился до полного внутренняго преображенія. Его любовь къ Надеждѣ Федоровнѣ совсѣмъ не того уже порядка чувство, которое его толкало прежде „соблазнять чужихъ женъ“. Теперь его соединяетъ съ нею та любовь, которую наша Церковь благословляетъ и увѣнчиваетъ мученическими вѣнцами.

Въ драмѣ „Царь Іудейскій“ авторъ нигдѣ и никогда даже издали не показываетъ Христа зрителямъ. Но они во всемъ чувствуютъ Его присутствіе; они ощущаютъ, когда Онъ проходитъ гдѣ-то близко; наконецъ они видятъ Его отраженіе въ человѣческихъ душахъ . . .

И у Чехова за видимостью внѣшняго движенія жизни и ея какъ будто само собою развивающагося дѣйствія, за стѣной всѣхъ естественно научныхъ гуманитарныхъ и идейно-философскихъ разсужденій, о человѣкѣ; наконецъ, за стѣной его собственнаго невѣрующаго сознанія гдѣ-то близко присутствуетъ Христосъ. Его свѣтомъ озаряются человѣческія сердца въ самыя лучшія минуты своей жизни, и Его силой люди встаютъ послѣ своего паденія. Чеховъ-художникъ, творческимъ своимъ инстинктомъ ощущая близость Бога, въ эти минуты самъ какъ то внутренне затихаетъ и смиренно говоритъ и повторяетъ вмѣстѣ съ Лаевскимъ:

„Никто не знаетъ настоящей правды“ . . . „Да, никто не знаетъ настоящей правды . . .“

Только въ одномъ изъ всѣхъ своихъ произведеній, такихъ разнообразныхъ по темамъ, по характеристамъ героевъ, переживаніямъ и мыслямъ въ нихъ изображеннымъ, Чеховъ прямо говоритъ о Христѣ<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> рассказъ „Студентъ“.

Студентъ Духовной академіи, Великопольскій, возвращается весной, въ Великую Пятницу съ тяги и подходитъ къ огородамъ, гдѣ у костра двѣ женщины, мать и дочь, послѣ ужина моютъ посуду. Погода перемѣнилась, стало холодно.

„Вдова Василиса, высокая пухлая старуха въ мужскомъ полушубкѣ, стояла возлѣ и въ раздумьѣ глядѣла на огонь; ея дочь Лукерья, маленькая, рябая, съ глуповатымъ лицомъ, сидѣла на землѣ и мыла котелъ и ложки . . . . .

„— Вотъ вамъ и зима пришла назадъ, — сказалъ студентъ, подходя къ костру. — Здравствуйте!

„Василиса вздрогнула, но тотчасъ же узнала его и улыбнулась привѣтливо.

„— Не узнала, Богъ съ тобой, — сказала она. — Богатымъ быть.

„Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господъ въ мамкахъ, а потомъ нянькахъ, выражалась деликатно, и съ лица ея все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ея, Лукерья, деревенская баба, забитая мужемъ, только щурилась на студента и молчала, и выраженіе у нея было странное, какъ у глухонѣмой.

„— Точно такъ же въ холодную ночь грѣлся у костра апостолъ Петръ, — сказалъ студентъ, протягивая къ огню руки. — Значить и тогда было холодно. Ахъ, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

„Онъ посмотрѣлъ кругомъ на котелки, судорожно встряхнулъ головой и спросилъ:

„— Небось, была на Двѣнадцати Евангеліяхъ?

„— Была, — отвѣтила Василиса.

„— Если помнишь, во время Тайной Вечери Петръ сказалъ Иисусу: „Съ Тобою я готовъ и въ темницу и на смерть“. А Господь ему на это:

„Говорю тебѣ, Петрѣ, не пропоетъ сегодня петель,  
„то-есть пѣтухъ, какъ ты трижды отречешься, что  
„не знаешь Меня.“ Послѣ вечери Иисусъ смертельно  
„тосковалъ на саду и молился, а бѣдный Петрѣ  
„истомился душой, ослабѣлъ, вѣки у него отяже-  
„лѣли, и онъ никакъ не могъ побороть сна. Спалъ.  
„Потомъ, ты слышала, Иуда въ ту же ночь поцѣло-  
„валъ Иисуса и предалъ Его мучителямъ. Его  
„связаннаго вели къ первосвященнику и били, а  
„Петрѣ, изнеможенный, замученный тоской и трево-  
„гой, понимаешь-ли, не выспавшійся, предчувствуя,  
„что вотъ на землѣ произойдетъ что-то ужасное,  
„шелъ вслѣдъ . . . Онъ страстно, безъ памяти, лю-  
„билъ Иисуса, и теперь видѣлъ издали, какъ Его  
„били . . .

„Лукерья оставила ложки и устремила неподвиж-  
„ный взглядъ на студента.

„— Пришли къ первосвященнику, — продолжалъ  
„онъ: — Иисуса стали допрашивать а работники  
„тѣмъ временемъ развели среди двора огонь, потому  
„что было холодно и грѣлись. Съ ними около костра  
„стоялъ Петрѣ и тоже грѣлся, какъ вотъ я теперь.  
„Одна женщина, увидѣвъ, его, сказала: „И этотъ  
„былъ съ Иисусомъ“, то-есть что и его, моль, нужно  
„вести къ допросу. И всѣ работники, что находи-  
„лись около огня, должно быть подозрительно и  
„сурово поглядѣли на него, потому что онъ сму-  
„тился и сказалъ: „Я не знаю Его“. Немного по-  
„годя опять кто-то узналъ въ немъ одного изъ уче-  
„никовъ Иисуса и сказалъ: „И ты изъ нихъ“. Но  
„онъ опять отрекся. И въ третій разъ кто-то обра-  
„тился къ нему: „да не тебя ли сегодня я видѣлъ  
„съ Нимъ въ саду?“ Онъ третій разъ отрекся. И  
„послѣ этого раза тотчасъ же запѣлъ пѣтухъ, и  
„Петрѣ, взглянувъ издали на Иисуса, вспомнилъ  
„слова, которыя Онъ сказалъ ему на вечери . . .

„Вспомнилъ, очнулся, пошелъ со двора и горько-горько заплакалъ. Въ евангеліи сказано: „И „исшедъ вонъ плакася горько.“ „Воображаю: тихій-тихій, темный-темный садъ, и въ тишинѣ едва „слышатся глухія рыданія . . .

„Студентъ вздохнулъ и задумался. Продолжая „улыбаться, Василиса вдругъ всхлипнула, слезы „крупныя, изобильныя, потекли у нея по щекамъ, „и она заслонила рукавомъ лицо отъ огня, какъ бы „стыдясь своихъ слезъ, а Лукерья, глядя непо- „движно на студента, покраснѣла, и выраженіе у „нея стало тяжелымъ, напряженнымъ, какъ у чело- „вѣка, который сдерживаетъ сильную боль.

„Работники возвращались съ рѣки, и одинъ изъ „нихъ верхомъ на лошади былъ уже близко, и „свѣтъ отъ костра дрожалъ на немъ. Студентъ по- „желалъ вдовамъ покойной ночи и пошелъ дальше. „И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. „Дулъ жестокій вѣтеръ, въ самомъ дѣлѣ возвра- „щалась зима, и не было похоже, что послѣзавтра „Пасха.

„Теперь студентъ думалъ о Василисѣ: если она „заплакала, то, значить, все, происходившее въ ту „страшную ночь съ Петромъ, имѣетъ къ ней ка- „кое-то отношеніе . . .

„Онъ оглянулся. Одинокій огонь спокойно ми- „галъ въ темнотѣ, и возлѣ него уже не было видно „людей. Студентъ опять подумалъ, что если Ва- „силиса заплакала, то, очевидно, то, о чемъ онъ „только что рассказывалъ, что происходило девят- „надцать вѣковъ назадъ, имѣетъ отношеніе къ на- „стоящему — къ обѣимъ женщинамъ и, вѣроятно, „къ этой пустынной деревнѣ, къ нему самому, ко „всѣмъ людямъ. Если старуха заплакала, то не по- „тому что онъ умѣетъ трогательно рассказывать, а „потому что Петръ ей близокъ, и потому что она

„всѣмъ своимъ существомъ заинтересована въ томъ, что происходило въ душѣ Петра.

„И радость вдругъ заволновалась въ душѣ, и онъ даже остановился на минуту, чтобы перевести духъ. Прошрое, — думалъ онъ: — связано съ настоящимъ непрерывною цѣпью событій, вытекающихъ одно изъ другого. И ему казалось, что онъ только что видѣлъ оба конца этой цѣпи: до-тронулся до одного, какъ дрогнулъ другой.

„А когда онъ переправлялся на паромѣ черезъ рѣку и потомъ, поднимаясь на гору, глядѣлъ на свою родную деревню и на западъ, гдѣ узкою полосой свѣтилась холодная багровая заря, то думалъ о томъ, что *правда и красота направлявшія человѣческую жизнь тамъ, въ саду и во дворъ первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное въ человеческой жизни и вообще на землѣ;*<sup>1)</sup> и чувство молодости, здоровья, силы — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожиданіе счастья, невѣдомого, таинственнаго счастья, овладѣвали имъ мало-по-малу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокаго смысла.“

## VI.

**Разрушеніе вѣры. Формально-бытовое благочестіе и идеи передовой интеллигенціи въ эпоху Чехова. Трагедія рационализма и позитивизма. „Палата № 6“. Разрывъ міросозерцанія и міроощущенія у самого Чехова. „Черный монахъ“. „Пари“. Вѣрилъ ли Чеховъ?**

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что ясность и чистота душъ, принимающихъ Бога и черезъ Него только осмысливающихъ жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, — тягостныхъ и свѣтлыхъ одинаково, —

---

1) Курсивъ нашъ.

выше, прекраснѣе и нужнѣе для человѣка всѣхъ научныхъ и философскихъ исканій его смущенной, а тѣмъ болѣе безпросвѣтно помраченной невѣріемъ мысли. Это зналъ Чеховъ. По его любованію вѣрующими людьми, по его тоскѣ о дѣтскости человѣческаго сердца, мы отнюдь не чувствуемъ въ немъ убѣжденнаго атеиста, успокоеннаго своимъ непоколебимо твердымъ „безбожнымъ“ возрѣніемъ на міръ и на судьбу человѣка; онъ скорѣе съ болью оглядывается на себя, на свою эпоху, на смятенность всякой души, глубоко уязвленной и отравленной „выводами современной науки“ и потому лишенной возможности цѣлостно воспринимать міръ подобно о. Якову, послушнику Іерониму, старому о. Христофору, молодому дякону въ „Дуэли“. — и съ болью, съ горькимъ чувствомъ, собственной обдѣленности, Чеховъ какъ бы повторяетъ слова Нагорной проповѣди: „Блаженни чистіи сердцемъ, яко тѣи Бога узрятъ.“

Развѣ не объ утраченной чистотѣ, открывавшей Бога, тоскуютъ и Лаевскій и Лаптевъ и Юлія Сергѣевна („Три года“) и многіе другіе герои Чехова? Юлія Сергѣевна, когда братъ ея мужа психически заболѣваетъ, и она несчастіемъ съ нимъ и жалостью къ нему совсѣмъ подавлена, говоритъ „мужу: „— Скажи, Алеша, отчего я перестала Богу молиться? Гдѣ моя вѣра? Ахъ, зачѣмъ вы при мнѣ говорили о религіи? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.“

„Онъ клалъ ей на лобъ компрессы, согрѣвалъ ей руки, поилъ ее чаемъ, а она жалась къ нему въ страхъ . . .“

Что отнимаетъ у человѣка вѣру въ Бога и раздробляетъ цѣлостность его мысли и внутренней жизни на мелкіе, подобные разбитому стеклу, осколки, которые порой больно впииваются въ сердце



и которыхъ не склеить уже никакими усилями мысли и воли? — Разрушительная работа заблуждающагося сознанія съ одной стороны и искаженное христіанство съ другой.

У Юліи Сергѣевны отнята вѣра разговорами ея мужа и его друзей о религіи. У ея мужа, Алексѣя Федоровича Лаптева, — воспитаніемъ въ „благочестивомъ“ купеческомъ домѣ, гдѣ „каждый празникъ служащіе были обязаны ходить къ ранней обѣднѣ и становиться такъ, чтобы ихъ видѣлъ хозяинъ...“, гдѣ „посты строго соблюдались“, а „въ торжественные дни, напримѣръ, въ именины хозяина или членовъ его семьи, приказчики должны были по подпискѣ подносить сладкій пирогъ отъ Флея или альбомъ.“ „Отецъ Лаптевыхъ всегда и всѣмъ ставилъ въ примѣръ самого себя. Это хвастовство, этотъ авторитетный подавляющій тонъ Лаптевъ слышалъ и 10, и 15, и 20 лѣтъ тому назадъ. Старикъ обожалъ самого себя, изъ его словъ всегда выходило такъ, что свою покойную жену и родню онъ осчастливилъ, дѣтей наградилъ, приказчиковъ облагодѣтельствовалъ и всю улицу и всѣхъ знакомыхъ заставилъ за себя вѣчно Бога молить; что онъ ни дѣлалъ, все это было очень хорошо, а если у людей плохо идутъ дѣла, то только потому, что они не хотятъ посовѣтоваться съ нимъ; безъ его совѣта не можетъ удасться ни какое дѣло. Въ церкви онъ всегда становился впереди всѣхъ и даже дѣлалъ замѣчанія священникамъ, когда они, по его мнѣнію, не такъ служили, и думалъ, что это угодно Богу, такъ какъ Богъ его любитъ.“

Лаптевъ рассказываетъ женѣ о своемъ дѣтствѣ, о томъ, какъ мать его „блѣднѣла и дрожала“ въ присутствіи его отца всю жизнь, и какъ она настолько были „истощена постояннымъ страхомъ“,

что и дѣти у нея, онъ самъ и братъ его Федоръ, родились „малорослые, слабогрудые“. „Я помню, — говорилъ Лаптевъ, — отецъ началъ учить меня „или, попросту говоря, бить, когда мнѣ не было „еще пяти лѣтъ. Онъ сѣкъ меня розгами, дралъ за „уши, билъ по головѣ и я, просыпаясь каждое „утро, думалъ прежде всего: будутъ ли сегодня „драть меня? Играть и шалить мнѣ и Федору за- „прещалось; мы должны были ходить къ утрени и „къ ранней обѣднѣ, цѣловать попамъ и монахамъ „руки, читать дома акаѳисты. Ты вотъ религіозна „и все это любишь, а я боюсь религіи, и когда про- „хожу мимо церкви, то мнѣ припоминается мое „дѣтство и становится жутко.“

Лишь въ университетскіе годы Лаптевъ освобождается отъ опеки отца, и конечно, подъ вліяніемъ товарищей, профессоровъ, чтенія книгъ, освобождается отъ внушающей ему страхъ отцовской „религіи;“ найти же религію иную, очищенную отъ страшной коросты бытового благочестія, у него уже нѣтъ ни потребности, ни силы.

Формально-бытовая вѣра въ эпоху Чехова была на виду у всѣхъ. Въ русской жизни она почти что заслоняла собою, по крайней мѣрѣ снаружи, настоящую духовную силу и высоту подлинно религіозныхъ людей. Надъ русскимъ народомъ, какъ и надъ русской учащейся молодежью, даже надъ служившими на государственной службѣ, тяготѣла правительственная забота о всеобщемъ „благочестіи“.

Учащіеся должны были представлять начальству свидѣтельства о говѣніи; солдатъ и юнкеровъ „водили“ въ церковь; обязательно было присутствіе на богослуженіяхъ въ опредѣленные дни и для военныхъ, и для чиновниковъ и для педагоговъ. Деревня, включая и мужиковъ и ихъ духовныхъ пастырей, тоже находилась подъ административно-поли-

цейскимъ надзоромъ, во избѣжаніе какихъ либо уклоновъ въ сектанство и вообще въ недопустимое „вольномысліе“. Въ глазахъ подавляющаго большинства интеллигентнаго общества Церковь въ Россіи являлась прежде всего и больше всего „реакціоннымъ казеннымъ учрежденіемъ“, стоящимъ на стражѣ интересовъ опредѣленнаго политическаго строя... И потому такъ созвучны по смыслу казались, такъ одинаково непріятно тяготили и одинаково вызывали враждебно-презрительное къ себѣ отношеніе слова близнецы „православіе и самодержавіе“.

Формально-бытовое благочестіе во многихъ отношеніяхъ было, дѣйствительно, гноящейся раной на русской жизни. Чеховъ зналъ всѣ его оттѣнки, сумѣлъ вглядѣться въ разныя его проявленія въ разныхъ общественныхъ слояхъ и у разныхъ людей.

Онъ видѣлъ истерическое ханжество богатыхъ и знатныхъ барынь, которыя не только хотѣли считать себя очень религіозными натурами, но, пользуясь своимъ положеніемъ, вмѣшивались въ жизнь Церкви и церковныхъ людей, докучали имъ, а иногда и вредили. Видѣлъ онъ грузную приверженность къ „чину“, „уставу“ и „благолѣпію“ въ купечествѣ, сплошь и рядомъ перемѣшанную съ грубой жестокостью и самохвальствомъ, какъ у старика Лаптева; традиціонно-суевѣрную богомольность мѣщанства, иногда искреннюю, а иногда и показную, какъ у Цыбукиныхъ; видѣлъ тысяachelтную вращенность мужиковъ въ церковный календарь, по которому распредѣлялась вся жизнь и работа русскаго крестьянства, опредѣлявшаго сроки не мѣсяцами и числами, а отъ „зимняго Николы“ до „вешняго“, отъ „Егорья“ до „Петрова дня“; мужиковъ неукоснительно поминившихъ и справлявшихъ свои престольные праздники въ селахъ, свои крестины, свадьбы и похороны непремѣннымъ посѣщеніемъ храмовъ и еще болѣе

непремѣннымъ и повальнымъ пьянствомъ, кончавшимся часто ссорами, драками, а иногда и тяжкими увѣчьями . . .

Все это видѣлъ Чеховъ. Не укрылось отъ его глазъ, что „набожность“ у иныхъ бывала хуже всякаго невѣрія. Она облекала все ихъ существо плотнымъ и толстымъ футляромъ, абсолютно непроницаемымъ ни для совѣсти, ни для жалости къ человѣку; она покрывала всякіе, отвратительные даже, поступки, утверждала самаго пошлаго и своекорыстнаго эгоиста въ спокойной увѣренности, что онъ поступаетъ „по закону“ и „согласно Писанію“, если кладетъ поклоны, ставитъ свѣчи и назидательно разсуждаетъ „о божественномъ“. Свѣчи, поклоны и „усердіе къ храму“, казалось имъ, — единственное и главное, въ чемъ заключается вѣра и чего Богъ требуетъ отъ человѣка; этимъ „главнымъ“ съ лихвою покрывается второстепенное — неизбѣжные для человѣческой „слабости“ грѣхи и недочеты . . .

Въ произведеніяхъ Чехова проходитъ цѣлая вереница разныхъ полу-религіозныхъ и псевдо-религіозныхъ типовъ. У cadaго изъ нихъ своя фізіономія, свое удареніе на какой-нибудь точкѣ ихъ „вѣры“.

Напримѣръ, почтмейстеръ Михаилъ Аверьянычъ (Палата № 6) вѣритъ, какъ говорится, „на всякій случай;“ онъ даже стѣсняется своей вѣры, какъ признака „отсталости“ скрываетъ ее передъ образованнымъ и невѣрующимъ докторомъ Андреемъ Ефимычемъ и говоритъ ему, приложившись къ Иверской иконѣ Божіей Матери въ московской часовнѣ: — „Хоть и не вѣришь, но оно какъ-то покойнѣе, когда помолишься.“

Фельдшеръ Сергѣй Сергѣичъ (въ той же повѣсти) — мошенникъ и воръ, обкрадывающій больныхъ, превратившій больницу своимъ хозяйничаніемъ въ ней въ отвратительную клоаку и ничуть

этимъ не смущенный ни передъ Богомъ, ни передъ людьми, своимъ „иждивеніемъ“ сооружаетъ въ приемной обкрадываемой имъ больницы „большой образъ въ кіотѣ съ тяжелою лампадой“ и „ставникъ въ бѣломъ чехлѣ“. . . „По воскресеньямъ въ приемной кто-нибудь изъ больныхъ, по его приказанію, „читаетъ вслухъ акаѳистъ, а послѣ чтенія самъ Сергѣй „Сергѣичъ обходитъ всѣ палаты съ кадилъницей и „кадитъ въ нихъ ладаномъ“. Когда доктора Андрея Ефимовича, по невѣжеству и безсердечію, новый врачъ запираетъ во флигелѣ для сумасшедшихъ и когда, избитый сторожемъ этого флигеля, Андрей Ефимовичъ умираетъ, у „благочестиваго фельдшера“ не пробуждается даже тѣни человѣческой жалости къ умершему, съ которымъ онъ прослужилъ почти двадцать лѣтъ; на зато Сергѣй Сергѣичъ исполняетъ и въ этомъ случаѣ то, что онъ считаетъ „требованіемъ долга“: на другой день смерти мы его видимъ въ часовнѣ, гдѣ лежитъ тѣло доктора: „Сергѣй Сергѣичъ набожно помолился на Распятіе и закрылъ своему бывшему начальнику глаза.“ На похоронахъ доктора, всѣми забытаго, онъ уже конечно, не появляется. . .

Мѣщанинъ Матвѣй Саввичъ (разсказъ „Бабы“) на постояломъ дворѣ обстоятельно и съ удовольствіемъ разсказываетъ хозяину двора, „Дюдѣ“ по прозвищу, исторію о томъ, какъ онъ взялъ къ себѣ „за спасеніе души“ мальчика Кузьку. Матвѣй Саввичъ въ молодые годы соблазняетъ свою сосѣдку, молодую женщину-солдатку, которая вышла замужъ не по любви и всѣмъ своимъ существомъ привязывается къ Матвѣю Саввичу. Когда же эта Машенька становится ему не нужна, потому что и увлеченіе ею у него прошло да и появилась „богатая невѣста на виду“, онъ жестоко отталкиваетъ ее съ длинными назиданіями „отъ божественнаго“ и „душеспасительнаго“;

съ холоднымъ презрѣніемъ укоряетъ ее за ея грѣшное и недозволенное къ нему чувство. Когда же Машеньку судятъ по подозрѣнію въ томъ, что именно она отравила мышьякомъ своего мужа и когда часть судей и свидѣтелей склоняется къ тому, что мужъ могъ самъ отравиться съ горя, Матвѣй Саввичъ очень спокойно и убѣдительно, въ качествѣ свидѣтеля, поддерживаетъ обвиненіе и ничего при этомъ не испытываетъ и не сознаетъ, кромѣ удовольствія, что онъ „поступаетъ по закону“. Когда Машенька попадаетъ въ тюрьму, онъ „по человѣчности“ носитъ приговоренной, можетъ быть, изъ за него на каторгу, женщинѣ „чайку и сахарку“, а когда ее отправляютъ по этапу „суетъ ей въ узелъ рублишку“ „за спасеніе души“. . . И онъ никакъ не можетъ понять, даже черезъ нѣсколько лѣтъ, почему эта несчастная Машенька, послѣ суда и всего съ нею происшедшаго, уже не можетъ больше выносить своего прежняго любовника, при его посѣщеніяхъ въ тюрьмѣ проникается такимъ ужасомъ, что „трясется всѣмъ тѣломъ, машетъ руками и бормочетъ: „Уйди, Уйди!“ Послѣ ея смерти бездѣтный Матвѣй Саввичъ не безъ расчета беретъ къ себѣ ея осиротѣлаго мальчика, съ которымъ обращается грубо и сурово и однако же онъ увѣренъ, что дѣлаетъ этимъ святое дѣло, пригрѣвъ у себя, по его словамъ, „арестантское отродье“.

Княгиня (разсказъ „Княгиня“), забавлявшаяся всѣми видами благотворительности, бездушная, капризная женщина, воображаетъ себя очень религіозной и каждый годъ на двѣ-три недѣли пріѣзжаетъ жить въ мужской монастырь, увѣренная въ томъ, что ея пребываніе въ немъ доставляетъ большое удовольствіе и настоятелю и всѣмъ монахамъ. Никто и никогда не рѣшался сказать княгинѣ правды о всѣхъ ея поступкахъ, кромѣ доктора, у

котораго въ минуту несдерживаемаго раздраженія вырывается откровенная оцѣнка ея дѣйствій, въ томъ числѣ и посѣщеній монастыря:

„... Вы никогда никого не щадили и, чѣмъ „святѣ мѣсто, тѣмъ больше шансовъ, что ему до- „станется на орѣхи отъ вашего милосердія и ангель- „ской кротости. Зачѣмъ вы ѣздите сюда? Что вамъ „здѣсь у монаховъ нужно, позвольте васъ спро- „сить?... Опять-таки игра, забава, кошунство надъ „человѣческой личностью и больше ничего. Вѣдь „въ монашескаго Бога вы не вѣруете, у васъ въ „сердцѣ свой собственный Богъ, до котораго вы „дошли своимъ умомъ на спиритическихъ сеансахъ; „на обряды церковные вы смотрите снисходительно, „къ обѣднѣ и ко всенощной не ходите, спите до „полудня... зачѣмъ же вы сюда ѣздите? Въ чу- „жой монастырь вы ходите со своимъ Богомъ и „воображаете, что монастырь считаетъ это за преве- „ликую честь для себя... Вы спросите-ка, между „прочимъ, во что обходятся монахамъ ваши визиты? „Вы изволили пріѣхать сюда сегодня вечеромъ, а „третьяго дня уже тутъ былъ верховой, посланный „изъ экономіи предупредить, что вы сюда соби- „раетесь. Цѣлый день вчера готовили для васъ „покои и ждали. Сегодня прибылъ авангардъ — „наглая горничная, которая то и дѣло бѣгаетъ че- „резъ дворъ, шуршитъ, пристаётъ съ вопросами, „распоряжается... Сегодня монахи весь день „были насторожѣ; вѣдь, если васъ не встрѣтитъ съ „церемоніей — бѣда! Архіерею пожалуетесь! „Меня, „Ваше Преосвященство, монахи не любятъ. Не „знаю, чѣмъ я ихъ прогнѣвила. Правда, я великая „грѣшница, но вѣдь я такъ несчастна!“ Ужъ од- „ному монастырю была изъ за васъ нахлобучка. „Архимандритъ занятой, ученый человѣкъ, у него „и минуты нѣтъ свободной, а вы то и дѣло тре-

„буете его къ себѣ въ покои. Никакого уваженія ни къ старости, ни къ сану. Добро бы уже жертвовали много, не такъ бы ужъ обидно было, а то вѣдь за все время монахи отъ васъ и ста рублей не получили.“

Впрочемъ, горячее негодование доктора быстро утихаетъ, смѣняется извиненіями, послѣ которыхъ княгиня еще больше укрѣпляется въ сознаніи, что она — непонятая страдальца съ нѣжнымъ и великодушнымъ сердцемъ.

Разсказъ Чехова — страничка изъ печальнаго русскаго прошлаго, очень типичная для характеристики „религіознаго настроенія“ на соціальныхъ верхахъ нашей прежней жизни. Только обвиненія, высказываемыя докторомъ княгинѣ, пожалуй, мало похожи на обычные тогдашніе разсужденія. Въ то время рѣдко кто бы сталъ на защиту монастыря и монаховъ, кто далъ бы себѣ трудъ вдуматься и понять, что церковь, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, не искала „вниманія“ знатныхъ покровителей и покровительницъ, какъ не искала опеки власти, но тяготилась одинаково и тѣмъ и другимъ. Наше общество этого не замѣчало и этимъ не интересовалось. Заклеймивъ духовенство — „поповъ“ —, оно вмѣстѣ съ ними вычеркивало изъ своего обихода и религію вообще. Выраженіе „религіозные предрасудки“ не большевики выдумали: они взяли его изъ стараго интеллигентскаго лексикона.

То, что въ разсказѣ „Княгиня“ говоритъ докторъ, — въ сущности говоритъ самъ Чеховъ. И говоритъ вразрѣзъ съ господствующимъ теченіемъ. И онъ же утверждаетъ устами фонъ-Корена, что „между архіереями встрѣчаются очень хорошіе и даровитые люди.“ Но кому было до этого дѣло, до „очень хорошихъ и даровитыхъ“ архіереевъ, до „ученыхъ и занятыхъ“ монаховъ, до такихъ поэтически тонкихъ



и чистыхъ душъ, какъ послушникъ Іеронимъ и іеродіаконъ Николай?

Въ то время не только интеллигенція, но и такъ называемое высшее общество, считавшее себя „вѣрующимъ“, или желавшее таковымъ казаться, презирало свое православное духовенство. Многіе же умудрялись какъ-то весьма своеобразно сочетать даже болѣе или менѣе искреннее благочестіе съ не менѣе искреннимъ презрѣніемъ къ „попамъ“. Благочестіе было само по себѣ, а духовенство само по себѣ; оно разсматривалось какъ нѣкій неизбѣжный „аксессуаръ“ религіи и именно ея внѣшней стороны, „аксессуаръ“ не очень пріятный, даже обременительный и скучный при общеніи съ нимъ, но, къ сожалѣнію, неизбѣжный. Нѣчто подобное бывало и въ отношеніи простого народа къ своимъ пастырямъ, которыхъ государство сумѣло разобщить съ прихожанами. Мужикъ „шелъ къ попу“ только по необходимости, за требой, но личнаго общенія съ нимъ, за рѣдкимъ исключеніемъ, почти никогда не искалъ.

И религіозное чувство въ Россіи, конечно, падало, хотя Церковь и держалась съ виду какъ будто очень крѣпко на своихъ тысячелѣтнихъ историческихъ устояхъ.

Навстрѣчу тягостному и непривлекательному положенію Церкви, отталкивавшему отъ нея, шли наука и „передовая мысль“. Религіозное сознаніе разрушалось ими съ другого конца. Наука просто объясняла происхожденіе религій, доказывала полную несовмѣстимость религіознаго ученія съ выводами точнаго знанія, а „передовая мысль“ утверждала, что „религіозные предразсудки“ лежатъ помѣхой на пути къ величайшимъ социальнымъ преобразованіямъ въ жизни человѣчества и отдаляютъ ихъ осуществленіе. Иначе говоря, современная

Чехову часть образованнаго русскаго общества по существу утверждала почти то же самое, что теперь открыто проповѣдуютъ въ С. С. С. Р. устно и печатно, воинствующие безбожники. Разница была лишь въ томъ, что тогда не дѣлали ссылокъ на Ленина и Маркса (позднѣе русскіе социаль-демократы на Маркса и опирались), вмѣсто контръ-революціи запугивали „сущестующимъ строемъ“ съ его репрессіями, запугивали „страданіемъ темнаго мужаика“. Конечно, вслухъ этого говорить было нельзя, но самая запретность „передовыхъ идей“ дѣлала ихъ особенно привлекательными. Онѣ просачивались прежде всего въ среду учащейся молодежи, распространялись черезъ подпольную печать, революціонные кружки и организаціи.

Теперь, въ эпоху возрожденія религіозной мысли и религіознаго настроенія, начавшуюся въ Россіи съ первыми выстрѣлами революціи, трудно даже представить себѣ, какими взглядами и вѣрованіями питалась русская интеллигенція еще такъ недавно! Если это трудно себѣ представить тѣмъ, кто зналъ и помнилъ русскую жизнь лѣтъ 20—25 назадъ, то еще труднѣе оно для нашей современной молодежи, не видѣвшей и не знавшей атмосферы, въ которой воспиталось старшее поколѣніе.

Какъ иллюстрацію прошлаго, припомнимъ Толстовскій романъ „Воскресеніе“, о которомъ мы уже упоминали по другому поводу. Когда этотъ романъ былъ написанъ, тогдашняя русская цензура не пропустила его полностью въ печать, вычеркнувъ изъ него всѣ кощунственныя замѣчанія и разсужденія автора. И съ какой же жадностью русская образованная публика искала именно заграничное изданіе „Воскресенія“, съ какимъ дурнымъ любопытствомъ и упоеніемъ читала и перечитывала какъ разъ тѣ страницы, на которыхъ Толстой глумится надъ пра-

вославленнымъ богослуженіемъ, надъ его самымъ высокимъ моментомъ — литургіей... И никому изъ читателей, за рѣдкими развѣ исключеніями, не было стыдно при этомъ ни за себя, ни за своего великаго романиста, который, въ своей тупой и нетерпимой озлобленности противъ Православія, никогда имъ непонятаго, не сумѣлъ, даже какъ художникъ, рассмотреть и оцѣнить всю глубочайшую красоту религіозной символики въ православномъ обрядѣ. Никто не замѣтилъ или не осмѣлился замѣтить, что толстовское изображеніе церковной службы не только богохульно, но и художественно бездарно, именно бездарно, при всемъ величій толстовскаго литературнаго генія вообще.

Изучая Чехова, нужно особенно считаться съ тѣмъ, въ какую эпоху онъ выросъ и сложился, чѣмъ питалась его душа въ обществѣ, въ жизни, въ литературѣ...

Послѣ того какъ богоискатель Толстой написалъ „Воскресеніе“, невѣрующій Чеховъ написалъ „Архіерея“, „Святою ночью“ и многое другое. Написалъ вопреки господствующимъ вкусамъ и требованіямъ своего времени... И нужно особенно при этомъ помнить, кто былъ Чеховъ — человѣкъ, выбившійся изъ мѣщанскихъ низовъ, говоря современнымъ совѣтскимъ языкомъ, „выдвиженецъ“, то есть принадлежалъ именно какъ разъ къ той категоріи, которая въ Россіи приносила съ собою въ среду интеллигентнаго общества узость понятій и озлобленную нетерпимость въ сужденіяхъ. Выбиваться не всегда было легко (напримѣръ, Чеховъ, уже будучи врачомъ, знавалъ большую нужду); борьба за существованіе порою оставляла „синяки“, царапины зависти, уязвленнаго самолюбія, которые далеко не способствовали развитію настоящей внутренней свободы въ человѣкѣ...

Но въ Чеховѣ какъ разъ и не было ни узости, ни нетерпимости. Если его прошлое и оставило на немъ какой-то слѣдъ, то это было угнетающее воспоминаніе о мракѣ жизни въ русскихъ низахъ, мракѣ внутреннемъ, и о внѣшней скудости и грубости быта въ мѣщанской средѣ, гдѣ онъ родился, и въ деревнѣ, среди мужиковъ, которыхъ онъ близко наблюдалъ и на которыхъ смотрѣлъ отнюдь не черезъ розовые очки современныхъ ему „народниковъ“. Мракъ жизни вызывалъ у Чехова особенную любовь къ культурѣ и къ культурнымъ людямъ. Какъ во время войны офицеры, пріѣзжавшіе въ отпускъ, радовались, послѣ грязи въ окопахъ, ваннѣ, свѣжему бѣлью, чистой постели и чистымъ комнатамъ, такъ радовался и Чеховъ цивилизации, какъ таковой, хотя бы только внѣшне смягчающей и облагораживающей человѣка. Несомнѣнно, дьяконъ въ „Дуэли“ высказываетъ собственныя мысли Чехова, когда онъ, въ ожиданіи встрѣчи противниковъ въ утро поединка, разсуждаетъ про себя: „За что они будутъ драться „на дуэли? Если бы они съ дѣтства знали такую такую „нужду, какъ дьяконъ, если бы они воспитывались „въ средѣ невѣжественныхъ, черствыхъ сердцемъ, „алчныхъ до наживы, попрекающихъ кускомъ хлѣба, „грубыхъ и неотесанныхъ въ обращеніи, плюющихъ „на полъ и отрыгивающихъ за обѣдомъ и во время „молитвы, если бы они съ дѣтства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избраннымъ „кругомъ людей, то какъ бы они ухватились другъ „за друга, какъ бы охотно прощали взаимно недо- „статки и цѣнили бы то, что есть въ каждомъ изъ „нихъ. Вѣдь даже внѣшне порядочныхъ людей такъ „мало на свѣтѣ! Правда, Лаевскій шалый, распу- „щенный, странный, но вѣдь онъ не украдетъ, не „плюнетъ громко на полъ, не попрекнетъ жену: „лопаешь, а работать не хочешь“, не станетъ бить

„ребенка вожжами или кормить своихъ слугъ вонючей солониной — неужели этого недостаточно, чтобы относиться къ нему снисходительно?“

Цѣня цивилизованность просвѣщенныхъ людей, хотя бы „даже внѣшне порядочныхъ“, Чеховъ въ силу одного этого особенно цѣплялся за прогрессъ, за научную мысль, переоцѣнивая ихъ значеніе. Если знаніе можетъ настолько облагородить человѣка, что даже „распущенный и шалый“ Лаевскій, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, стоитъ въ чемъ-то несравнимо выше мужика Кирьяка, который пьянствуетъ, грубо бранится и бьетъ свою жену, то какъ же не повѣрить человѣческому знанію, человѣческому разуму и ихъ выводамъ?

Въ этомъ отношеніи Чеховъ и Толстой представляли собою двухъ характерныхъ антиподовъ приблизительно одной и той же эпохи. Толстой выросъ въ средѣ, въ которой было естественно не „плевать на полъ“, не „бить вожжами ребенка“, не „попрекать кускомъ хлѣба“ и потому онъ видѣлъ въ своемъ кругу, въ кругу культурныхъ людей, ложь, притворство, пустоту, пошлость, жестокость и алчность не меньшія, если не большія, но лишь проявляющіяся въ иныхъ формахъ. Въ то время какъ Чехова отъ невѣжества и грубости мужицкой тянуло къ верхамъ, Толстой именно въ мужицкихъ низахъ искалъ правдивости, непосредственности, простоты, отсутствія изнѣженности и избалованности. Толстого отъ такихъ, какъ Лаевскій, тянуло скорѣе даже къ пьяницѣ Кирьяку и потому онъ дошелъ до проповѣди „опрощенія“... Чеховъ хотѣлъ школъ и прогресса именно, чтобы не было Кирьяковъ... И оба въ чемъ то по своему были, конечно, правы. Но Толстой со своимъ упорствомъ, съ силой своего темперамента дошелъ до полного отрицанія культуры и науки. Чеховъ ухватился за нихъ, какъ за единственное средство возвы-

сить и облагородить человѣческую жизнь, но не смогъ, подобно большинству своихъ современниковъ, стать фанатикомъ рационализма. На пути къ этому въ немъ сталъ художникъ. Художникъ ощутилъ, что знаніе и прогрессъ далеко не даютъ и не дадутъ всего даже въ будущемъ, что человѣческая душа прежде всего и больше всего хочетъ для себя въ своей собственной жизни, осмыслить свое бытіе познаніемъ высшей правды, и высшей цѣли, лежащихъ гдѣ-то за предѣлами нашего ограниченнаго зрѣнія. И Чеховъ раскололся на-двое внутри самого себя. Эта расколотость была причиной его почти не затихавшей тоски. Чеховская „мягкая грусть“, какъ у насъ говорили, въ сущности прикрывала большую внутреннюю трагедію очень скрытнаго человѣка и писателя. Читая письма Чехова, мы видимъ, что онъ могъ бы, какъ Розановъ, сказать о себѣ „и срываетъ меня съ каждаго мѣста, на которомъ я стою“. Внутреннее томленіе выражалось у него въ постоянныхъ переѣздахъ, въ жаднѣ путешествій, новыхъ впечатлѣній. Онъ ѣздилъ очень много, думается, не столько въ поискахъ благопріятнаго для своего здоровья климата, сколько движимый душевнымъ безпокойствомъ и неутолимой жаждой куда-нибудь уйти отъ самого себя. И смерть застала его на дорогѣ, въ нѣмецкомъ городкѣ Баденвейлерѣ, передъ большимъ путешествіемъ въ Африку... Онъ строилъ планы этого путешествія всего за нѣсколько дней до своего конца.

Трагедія Чехова состояла въ томъ, что онъ всю свою жизнь простоялъ передъ дверью, въ которую его влекло сердце, весь складъ его души, но которая для него лично оказывалась почти запертой его собственнымъ сознаніемъ. Страдая отъ этого самъ, онъ особенно жалѣлъ и понималъ людей, духовно обездоленныхъ отсутствіемъ твердой и ясной вѣры, непоколебимой никакими сомнѣніями. Онъ любилъ

и жалѣлъ человѣка такъ, какъ можетъ быть, никто его не любилъ и не жалѣлъ во всей нашей литературѣ. Жалѣлъ со всяческимъ снисхожденіемъ, и записывалъ одну за другой большія и маленькія драмы жизни, самыя съ виду незамѣтныя.

Любовь Чехова была во-истину христіанская. За человѣка съ его, какъ ему казалось, навѣки безвыходной и горькой судьбой, онъ распиналъ свое сердце. Развѣ человѣкъ за всѣ свои грѣхи, ошибки, заблужденія долженъ быть казнимъ и осуждаемъ нами? Человѣкъ безконечно слабъ и несчастенъ. Такъ думалъ Чеховъ и повторялъ свой постоянный припѣвъ: „Вѣдь жизнь дается одинъ разъ!“ ... и прибавлялъ: „Вѣдь хочется жить независимо отъ будущихъ поколѣній и не только для нихъ“.

Безымянный герой повѣсти „Разсказъ неизвѣстнаго человѣка“, — разочарованный въ революціи партійный революціонеръ, которому было поручено убить важнаго сановника, — не только не выполняетъ даннаго ему порученія, но совершенно охлаждаетъ къ своимъ прежнимъ идеямъ и порываетъ съ ними. Происходитъ это потому что онъ близко подходитъ къ реальности самой обыденной жизни, и человѣкъ, какъ таковой, заслоняетъ отъ него человѣчество. Онъ задумывается надъ судьбой и характеромъ каждаго, кого видитъ, каковъ бы онъ ни былъ. И отъ мысли о всякомъ человѣкѣ онъ переходитъ и къ мысли о самомъ себѣ:

„— Живой человѣкъ не можетъ не волноваться „и не отчаиваться, когда видитъ какъ погибаетъ „самъ и вокругъ гибнуть другіе... Жизнь дается „одинъ разъ и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво... Я вѣрю и въ цѣлесообразность, „и въ необходимость того, что происходитъ вокругъ, „но какое мнѣ дѣло до этой необходимости, зачѣмъ „пропадать моему „я“?“

Онъ боленъ туберкулезомъ, предчувствуетъ приближеніе смерти, страшная тоска минутами гнететъ его душу, выхода нѣтъ и вырывается у него не то жалоба, не то мольба: „хоть бы кусочекъ какой-нибудь вѣры“.

Съ большой силой, со всей безпощадностью именно Чеховъ изображаетъ выѣдающую душу пустоту рационализма, трагедію разорванности ума и сердца. У стараго профессора Николая Степановича умъ утверждаетъ, что „наука — самое важное, самое нужное и самое прекрасное въ жизни человека“, „что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви“, а истосковавшееся отъ болѣзни, бессонницы, одиночества и ожиданія смерти, сердце стремится найти хотя бы призракъ успокоенія не въ обществѣ его ученыхъ коллегъ и не въ книгахъ, а около его воспитанницы, неудачливой актрисы Кати. И, когда онъ видитъ, что Катя сама несчастна, онъ ничѣмъ ее не можетъ утѣшить: жизнь, проведенная въ кипучей дѣятельности, въ занятіяхъ любимой наукой ничего ему не оставила на послѣдніе дни. Книги, имъ написанныя, стоятъ на полкахъ; его талантъ, знанія, удовлетвореніе своимъ успѣхомъ — все это въ прошломъ, а въ настоящемъ — пустота души, тяжкое томленіе и могила.

Еще страшнѣе судьба романтика рационализма доктора Андрея Ефимовича Рагина, въ повѣсти „Палата № 6“. У него ничего не было, кромѣ университета въ прошломъ и книгъ во всю его послѣдующую жизнь. Ни семьи, ни близкихъ, ни одного друга. Онъ людей не видитъ, съ ними не общается, да и съ кѣмъ общаться въ отвратительномъ глухомъ уѣздномъ городишкѣ за 200 верстъ отъ желѣзной дороги? Практику медицинскую онъ давно уже забросилъ. Въ больницѣ, ему поручен-



ной по службѣ, онъ или совсѣмъ не бываетъ или бываетъ лишь мимоходомъ, не обращая никакого вниманія на своихъ пациентовъ. Крѣпкой стѣной отгородился онъ отъ всякой жизни, лежащей за предѣлами его, заваленной книгами, квартиры. Онъ видитъ только прислугу Дарьюшку, подающую ему несложную ѣду и пиво, да заходящаго къ нему почтмейстера изъ отставныхъ военныхъ, Михаила Аверьяныча. Умственные интересы доктора очень далеки отъ Михаила Аверьяныча, который ходитъ къ нему и изъ случайной личной симпатіи и отъ любви къ самому процессу „умныхъ разговоровъ“.

Докторъ „затрачиваетъ половину жалованья на покупку книгъ“ и „читаетъ очень много и съ большимъ удовольствіемъ“.

„Говорятъ, — рассказываетъ Чеховъ про Рагина — „что въ ранней молодости онъ былъ очень набоженъ и готовилъ себя къ духовной карьерѣ, и, что, „кончивъ въ 1863 году курсъ въ гимназіи, онъ намѣревался поступать въ духовную академію но „будто бы его отецъ, докторъ медицины и хирургъ, „ѣдко посмѣялся надъ нимъ и заявилъ категорически, что не будетъ считать его своимъ сыномъ, „если онъ пойдетъ въ попы. Насколько это вѣрно — „не знаю, но самъ Андрей Ефимовичъ не разъ признавался, что онъ никогда не чувствовалъ призванія и къ медицинѣ и вообще къ специальнымъ наукамъ. Какъ бы то ни было, кончивъ курсъ по „медицинскому факультету, онъ въ священники не „постригся. Набожности онъ не проявлялъ...“

Чеховъ показываетъ намъ доктора Рагина абсолютно равнодушнымъ ко всему на свѣтѣ, кромѣ книгъ. Городская больница находится въ ужасающемъ состояніи, но докторъ въ теченіе всей своей двадцатилѣтней службы, съ момента пріѣзда въ городъ, такъ ничего и не предпринималъ, что бы сколь-

ко-нибудь упорядочить это, по его же словамъ, „учрежденіе безнравственное и въ высшей степени вредное для здоровья жителей“. На это у него нѣтъ ни энергіи, ни рѣшимости характера, а, кромѣ того, у него съ годами сложилась особая теорія о бесплодности слабыхъ человѣческихъ усилій, которыхъ и напрягать не стоитъ, ибо они въ существующемъ порядкѣ вещей нашей жизни не могутъ произвести никакихъ радикальныхъ измѣненій. И доктора, человѣка честнаго по натурѣ, но „не умѣющаго устроить жизни“, лишь изрѣдка покалываютъ угрызения совѣсти за то, что онъ, въ сущности, даромъ получаетъ жалованье, а больные у него валяются въ грязи, безъ присмотра и безъ медицинской помощи.

Единственная его радость — процессъ мышленія своего и чужого. Это самая высокая точка въ его существованіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самая безнадежная. Онъ пессимистъ.

„Конечно, умъ тоже не вѣченъ и переходящъ“, — говоритъ онъ своему слушателю почтмейстеру, — „но вы уже знаете, почему я питаю къ нему склонность“. Жизнь есть досадная ловушка. Когда „мыслящій человѣкъ“ достигаетъ возмужалости и „приходитъ въ зрѣлое сознаніе, то онъ невольно „чувствуетъ себя какъ бы въ ловушкѣ, изъ которой нѣтъ выхода. Въ самомъ дѣлѣ, противъ его воли „вызванъ онъ какими то случайностями изъ небытія „къ жизни... Зачѣмъ? Хочетъ онъ узнать смыслъ „и цѣль своего существованія, ему не говорятъ или „говорятъ нелѣпости; онъ стучится, ему не отворяютъ; къ нему приходитъ смерть тоже противъ „его воли. И вотъ какъ въ тюрьмѣ люди, связанные общимъ несчастьемъ, чувствуютъ себя легче, „когда сходятся вмѣстѣ, такъ и въ жизни не замѣчаешь ловушки, когда люди, склонные къ анализу

„и обобщеніямъ, сходятся вмѣстѣ и проводятъ время въ обмѣнѣ гордыхъ, свободныхъ идей. Въ этомъ смыслѣ умъ есть наслажденіе незамѣнимое“.

Ради этого наслажденія обмѣномъ свободныхъ идей, докторъ Рагинъ начинаетъ посѣщать ежедневно въ палатѣ № 6-ой душевно больного Ивана Дмитрича, единственнаго, кромѣ доктора, образованнаго человѣка во всемъ городишкѣ. Узнаетъ о немъ докторъ случайно, ибо случайно и впервые за много лѣтъ переступаетъ порогъ больничнаго флигеля, гдѣ царить полный произволъ глупаго и драчливаго сторожа Никиты. Посѣщая Ивана Дмитрича, докторъ даже не обращаетъ вниманія, въ какой обстановкѣ живетъ его новый знакомый, а вмѣстѣ съ нимъ и другіе больные. Обстановка его не интересуется и не имѣетъ въ его глазахъ никакого значенія; ему хочется думать, говорить и слушать, а остальное все не можетъ быть важно для мыслящаго человѣка.

Но, до знакомства съ сумасшедшимъ, докторъ отдается своимъ мыслямъ только наединѣ. „Тишина вечера и потомъ ночи не нарушается ни однимъ звукомъ и время, кажется, останавливается и замираетъ вмѣстѣ съ докторомъ надъ книгой, и кажется, что ничего не существуетъ, кромѣ этой книги и лампы съ зеленымъ колпакомъ. Грубое мужицкое лицо доктора мало-по-малу озаряется улыбкой умиленія и восторга передъ движеніями человѣческаго ума. — О, зачѣмъ чело-вѣкъ не безсмертенъ? — думаетъ онъ. — Зачѣмъ мозговые центры и извилины, зачѣмъ зрѣніе, рѣчь, самочувствіе, геній, если всему этому суждено уйти въ почву и, въ концѣ концовъ, охладѣть вмѣстѣ съ земной корой, а потомъ миллионы лѣтъ безъ смысла и безъ цѣли носиться съ землей во-кругъ солнца? Для того, чтобы охладѣть и потомъ

„носиться, совѣмъ не нужно извлекать изъ не-  
„бытія человѣка съ его высокимъ, почти божескимъ  
„умомъ, и потомъ, словно въ насмѣшку, превращать  
„его въ глину.

„Обмѣнъ веществъ! Но какая трусость утѣшать  
„себя этимъ суррогатомъ безсмертія! Безсознатель-  
„ные процессы, происходящіе въ природѣ, ниже  
„даже человѣческой глупости, такъ какъ въ глу-  
„posti есть все таки сознаніе и воля, въ процес-  
„сахъ же ровно ничего.

„Только трусь, у котораго больше страха передъ  
„смертью, чѣмъ достоинства, можетъ утѣшать себя  
„тѣмъ, что тѣло его будетъ со временемъ жить въ  
„травѣ, въ камнѣ, въ жабѣ... Видѣть свое без-  
„смертіе въ обмѣнѣ веществъ такъ же странно,  
„какъ пророчить блестящую будущность футляру  
„послѣ того, какъ разбилось и стала негодною до-  
„рогая скрипка.“

Андрей Ефимовичъ, образованный человѣкъ, по-  
добно Чехову, изучавшій естественныя науки на  
медицинскомъ факультетѣ, въ своихъ разсужде-  
ніяхъ о судьбѣ человѣка идетъ дальше Тузенбаха  
и Вершинина. Соціальный и техническій прогрессъ  
„черезъ двѣсти-триста, наконецъ, тысячу лѣтъ“ не  
задерживаетъ его вниманія. Вѣка и тысячелѣтія —  
это такъ мало въ движеніи общаго мірового про-  
цесса! Если человѣкъ, умирая физически, пере-  
стаетъ существовать сознательно и лишь измѣнив-  
шіяся частицы его прежняго тѣла будутъ бессмыс-  
ленно участвовать въ движеніи міровой матеріи, то  
сроки времени уже не играютъ для него никакой  
роли, а, слѣдовательно, послѣ своего личнаго конца  
естественнѣе представлять себѣ конецъ всякой  
жизни на нашей планетѣ.

И передъ Андреемъ Ефимовичемъ открывается  
страшный темный провалъ: съ одной стороны мощь,

величіе и блескъ человѣческаго разума, а съ другой „бессознательные процессы, происходящіе въ природѣ“, бессознательные механически-мертвые законы міра, которымъ все подчинено и которые „ниже даже человѣческой глупости, такъ какъ въ глупости есть все таки сознаніе и воля, въ процессахъ же ровно ничего“.

И доктору Андрею Ефимовичу, какъ и профессору Николаю Степановичу, какъ всякому почти „мыслящему человѣку“ XIX вѣка, невозможно сдвинуться съ той опорной точки, къ которой крѣпкими гвоздями „научное мышленіе“ ихъ эпохи приколотило ихъ будто бы свободный разумъ. Эта опорная точка — гуманизмъ: человѣкъ — высшее и разумнѣйшее существо въ мірѣ. Нѣтъ никакого иного міра, кромѣ міра матеріальнаго, подчиненнаго неизвѣстно кѣмъ непрекашающемуся „обмѣну веществъ“, и вотъ въ этомъ мірѣ, въ результатъ естественной эволюціи, возникли „мозговые центры и извилины“, „зрѣніе, рѣчь, самочувствіе, геній“, которымъ „суждено уйти въ почву и, въ концѣ концовъ, охладѣть вмѣстѣ съ земной корой“ . . . Милліоны лѣтъ земля вращалась вокругъ солнца, и неизвѣстно, сколько милліоновъ будетъ вращаться дальше эта маленькая планета, на которой неизвѣстно зачѣмъ вдругъ, на короткій, почти что мгновенный въ сравненіи съ милліонами лѣтъ, срокъ вспыхнулъ въ сѣромъ веществѣ человѣческаго мозга единственный въ мірѣ свѣтъ. Свѣтъ сознанія, свѣтъ творческой воли, свѣтъ подлинно живой жизни. И этотъ свѣтъ исчезнетъ. Сознательное бытіе въ огромномъ бессознательномъ мірѣ свойственно только человѣку, но это бытіе, на неизмѣримомъ времени и пространствѣ бессмысленно пребывающей матеріи, — подобно зажженной и погаснувшей спичкѣ. Кто

ее зажечь? Или какъ она зажглась? Зачѣмъ зажглась? Это вопросы по-истинѣ ужасные, которые должны въ невѣрующемъ сознаніи вызывать жестокое чувство. И Андрей Ефимовичъ совершенно правъ, говоря: „Для того, чтобы охладѣть и потомъ носиться, совсѣмъ не нужно извлекать изъ небытія человѣка съ его высокимъ, почти божескимъ умомъ, и потомъ, словно въ насмѣшку, превращать его въ глину“.

Но кѣмъ установлена и доказана эта истина безслѣднаго превращенія въ глину разумной твари? — Наукой — отвѣтятъ на этотъ вопросъ изучавшіе естествознаніе и Андрей Ефимовичъ, и фонъ-Корень, и самъ Чеховъ. Наука не позволяла имъ вѣрить въ безсмертіе. Всѣ самыя высокія проявленія человѣческаго духа зависятъ отъ „мозговыхъ центровъ и извилинъ“, отъ сѣраго вещества нашего мозга. Фонъ-Корень говоритъ о томъ, что даже нравственный законъ органически связанъ съ нашимъ тѣломъ, и эта органическая связь доказывается „очевидностью“: „серьезное заболѣваніе мозга — и всѣ такъ называемыя душевныя болѣзни выражаются прежде всего въ извращеніи нравственнаго закона“.

Пока живъ человѣкъ и здоровъ, его мысль стремится охватить весь міръ. И эта же мысль начинаетъ тускнѣть и гаснуть во время тяжелой болѣзни, въ бреду при потерѣ сознанія. Духовное наше „я“ зависитъ отъ „процессовъ“ и ими только опредѣляется. Смерть уничтожаетъ все. Эту печальную увѣренность свою Чеховъ косвенно высказываетъ въ изображеніи смерти. Читая нѣкоторые его рассказы, мы какъ будто слышимъ слова, которыя онъ хочетъ произнести: — Вотъ, посмотрите, какъ умираетъ человѣкъ! Какъ это страшно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, просто: одни „процессы“ оста-

навливаются и замѣняются другими, новыми „процессами“ обратнаго порядка, превращающими насъ въ глину или въ нѣчто иное, одинаково безмысленное. Вотъ въ трюмѣ парохода лежатъ больные. Многіе изъ нихъ обречены — имъ не вынести далекаго плаванія, — но до послѣдней минуты, несмотря на болѣзнь, они, каждый по своему, чѣмъ-то озабочены, волнуются, думаютъ, тоскуютъ, разговариваютъ. Это инстинктивная жажда жизни въ нихъ. Безсрочно-отпускной рядовой Гусевъ, больной туберкулезомъ въ послѣдней стадіи, лежа на своей койкѣ, думаетъ то о сказочно огромныхъ морскихъ рыбахъ, то о вѣтрѣ, качающемъ судно, то о родной сторонѣ, о своей деревнѣ, до которой такъ долго, долго надо плыть черезъ океанъ. Мысли смѣняются бредомъ: послѣ брата Алексѣя „который ѣдетъ въ саняхъ“ съ „сынншкой Ванькой въ большихъ валенкахъ и дѣвчонкой Акулькой“ . . . „вдругъ ни къ селу ни къ городу показывается большая бычья голова безъ „глазъ, и сани уже не ѣдутъ а кружатся въ черномъ дыму. Но онъ все таки радъ, что повидаль „родныхъ. Радость захватываетъ у него дыханіе, „бѣгаетъ мурашками по тѣлу, дрожить въ пальцахъ.

„— Привелъ Господь повидаться! — бредить „онъ, но тотчасъ же открываетъ глаза и ищетъ въ потемкахъ воду . . . И такъ до разсвѣта“.

И пока онъ борется съ болѣзнью, умираютъ въ трюмѣ двое, одинъ за другимъ. Сначала солдатъ, играющій въ карты съ товарищемъ, съ которымъ „вдругъ дѣлается что-то странное . . . Онъ называетъ черви бубнами, путается въ счетъ и роняетъ „карты, потомъ испуганно и глупо улыбается и обводитъ всѣхъ глазами. — Я сейчасъ, братцы . . . — говоритъ онъ и ложится на полъ“. И когда бросаются къ нему, кто съ кружкой воды, кто съ предложеніемъ „попа призвать“, — онъ уже мертвъ и

недвижимъ. Затѣмъ умираетъ желчный и раздражительный Павелъ Ивановичъ. За два дня до смерти онъ еще кипятится, всѣхъ критикуетъ, бранить, „протестуетъ противъ произвола“, ахаетъ надъ темнотой и невѣжествомъ простыхъ солдатъ; потомъ онъ уже не сидитъ, а лежитъ: „глаза у него закрыты, носъ сталъ какъ будто острѣе; но и черезъ силу онъ старается, подбодряя себя, говорить: „— Какъ сравнить себя съ вами, жалко мнѣ васъ... „бѣднягъ. Легкія у меня здоровыя, а кашель это „желудочный... Я могу перенести адъ, не то что „Красное Море! Къ тому же я отношусь критически „къ болѣзни своей, и къ лѣкарствамъ. А вы... „вы темные... Тяжело вамъ, очень тяжело!...“ Къ вечеру его тѣло тихо выносятъ изъ лазарета, такъ тихо, что Гусевъ этого даже не замѣчаетъ. Онъ самъ умираетъ послѣднимъ. Передъ этимъ выводятъ его на палубу, но отъ слабости онъ не можетъ стоять и возвращается въ трюмъ. Одинъ изъ солдатъ сочувственно и просто говоритъ ему о смерти и также просто отвѣчаетъ Гусевъ, что онъ обезпокоенъ тѣмъ, что дома о его смерти не узнаютъ. На вопросъ товарища:

„— А помирать страшно?“ — Гусевъ отвѣчаетъ:

„— Страшно. Мнѣ хозяйства жалко. Братъ у „меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу „зря бьетъ, родителей не почитаетъ. Безъ меня все „пропадетъ, и отецъ со старухой, гляди, по міру „пойдутъ“... Онъ дремлетъ и бредитъ замучен- „ный кошмарами, кашлемъ и духотой, къ утру крѣпко „засыпаетъ. Снится ему, что въ казармѣ только что „вынули хлѣбъ изъ печи, а онъ залѣзъ въ печь и „парится въ ней березовымъ вѣшникомъ. Спитъ онъ „два дня, а на третій въ полдень приходятъ сверху „два матроса и выносятъ его изъ лазарета. Его „зашиваютъ въ парусину и, чтобы онъ сталъ тяжелѣе,



„кладутъ вмѣстѣ съ нимъ два желѣзныхъ колосника. „Зашитый въ парусину, онъ становится похожимъ „на морковь, или рѣлку: у головы широко, къ ногамъ узко . . . Передъ заходомъ солнца выносятъ „его на палубу и кладутъ на доску; одинъ конецъ „доски лежитъ на борту, другой на ящикѣ, поставленномъ на табуретѣ. Вокругъ стоятъ безсрочно „отпускные и команда безъ шапокъ.

„— Благословенъ Богъ нашъ, — начинается священникъ: — всегда нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ!

„— Аминь! — поютъ матросы.

„Безсрочно отпускные и команда крестятся и поглядываютъ въ сторону на волны. Странно, что человекъ зашить въ парусину и что онъ полетитъ сейчасъ въ волны. Неужели это можетъ случиться со всѣмъ?

„Священникъ посыпаетъ Гусева землей и кланяется. Поютъ вѣчную память.

„Вахтерный приподнимаетъ конецъ доски, Гусевъ сползаетъ съ нея, летитъ внизъ головой, потомъ перевортывается въ воздухъ и — бултыхъ! Пѣна покрываетъ его, и мгновеніе кажется онъ окутаннымъ въ кружева, но прошло это мгновеніе, и онъ исчезаетъ въ волнахъ.“

На этомъ не оканчивается разсказъ. Чеховъ переносится воображеніемъ въ глубину океана и съ жуткой художественной силой описываетъ, какъ тѣло сначала идетъ ко дну, все тише и тише, затѣмъ теченіемъ его несетъ въ сторону . . . Потомъ появляется стая рыбокъ „лоцмановъ“, потомъ акула . . . Она играетъ съ мертвецомъ, подхватываетъ его себѣ на спину, „затѣмъ она поворачивается вверхъ брюхомъ, нѣжится въ теплой, прозрачной водѣ и лѣниво „открываетъ пасть съ двумя рядами зубовъ! . . . „парусина разрывается по всю длину тѣла, отъ го-

„ловы до ногъ; одинъ колосникъ выпадаетъ и, испугавши лоцмановъ, ударивши акулу по боку, быстро идетъ ко дну.

„А наверху въ это время, въ той сторонѣ, гдѣ заходитъ солнце, скучиваются облака“ . . . „Изъ-за облаковъ выходитъ широкій зеленый лучъ и протягивается до самой середины неба; немного погода, рядомъ съ этимъ ложится фіолетовый, рядомъ съ нимъ золотой, потомъ розовый . . . Небо становится нѣжно-сиреневымъ. Глядя на это великолѣпное, очаровательное небо, океанъ сначала хмурится, но скоро самъ пріобрѣтаетъ цвѣта ласковые, радостные, какіе на человѣческомъ языкѣ и назвать трудно.“

„И равнодушная природа“, которая будетъ „красою вѣчною сіять“ — солнце, океанъ въ часъ заката, — и огромная хищная акула со своимъ развѣдочнымъ отрядомъ „лоцмановъ“, и мертвое тѣло, зашитое въ парусину, которое не дойдетъ до дна, потому что его сожретъ жадное животное, — развѣ все это не тѣ же „безсознательные процессы“, о которыхъ говоритъ докторъ Андрей Ефимовичъ Рагинъ? Былъ хорошій солдатъ Гусевъ, который честно исполнялъ службу на Дальнемъ Востокѣ, думая о родномъ домѣ, о старикахъ-родителяхъ съ любовью и безпокойствомъ. Потомъ онъ заболѣлъ чахоткой, умеръ; его зашили въ парусину и, вмѣсто живого и разумнаго существа, получился бездушный предметъ „похожій на морковь или на рѣдку“ . . . Отъ того, что его бросили въ море, и онъ попалъ въ зубастую пасть акулы, ничего не измѣнилось въ мірѣ. Лишь на моментъ, во время отпѣванія, матросы съ инстинктивнымъ смущеніемъ поглядѣли на волны, и вопросъ, котораго не принимаетъ спокойно наше сознаніе, смутилъ ихъ души: „неужели это можетъ случиться со всякимъ?“

— А какъ же иначе? -- какъ будто отвѣчаетъ неслышно авторъ на этотъ вопросъ.

— Да, случится со всѣми. Другихъ, вмѣсто океанскихъ волнъ, ждетъ земля — „обратятся въ глину“. — Ну а душа? — спросимъ мы. — Душа? Душа зависитъ отъ „мозговыхъ центровъ и извилинъ“, отъ той хрупкой и сложной матеріи, которая называется организмомъ. Функціи организма, т. е. матеріи, нарушаются, останавливаются и отъ человѣка ничего больше не остается. Чтобы въ этомъ удостовѣриться надо послѣдовать совѣту зоолога фонъ-Корена и „обратиться къ тѣмъ немногимъ точнымъ знаніямъ, „какія у насъ есть, довѣриться очевидности логики „и фактовъ. Правда, это скудно, не такъ зыбко и расплывчато какъ философія.“

Было ли это окончательнымъ выводомъ Чехова? Вѣроятно, его сознаніе большею частью утверждалось или, во всякомъ случаѣ, пыталось утвердиться на такой точкѣ зрѣнія. Когда онъ, какъ врачъ и физиологъ, подходилъ къ умирающимъ организмамъ, наблюдалъ извѣстные ему симптомы болѣзней и ихъ развитіе, или видѣлъ какъ Гусевыхъ, зашитыхъ въ парусину, брасаютъ въ океанъ, точно щепку, онъ не сомнѣвался, что „очевидность и логика“ и „точныя знанія“, при всей ихъ скудости, говорятъ истину. Но когда онъ подходилъ къ человѣческой душѣ и изъ врача и физиолога превращался въ психолога и художника, то скудность научныхъ данныхъ и „точныхъ знаній“ становилась для него явно невыносимой. Итакъ ли ужъ дѣйствительно, точны эти „точныя знанія“? Вѣдь есть тысяча вопросовъ, на которые они никогда не отвѣтятъ. И то, что казалось „точнымъ“ пятьдесятъ или тридцать лѣтъ назадъ, опровергается сегодня, какъ заблужденіе... Въ рассказѣ „Въ пути“ Лихаревъ говоритъ, случайно встрѣченной имъ на постояломъ

дворѣ, помѣщицѣ: „Всѣ науки, сколько ихъ есть „на свѣтѣ, имѣють одинъ и тотъ же паспортъ, безъ „котораго онѣ считаютъ себя немислимыми: стрем- „леніе къ истинѣ! Каждая изъ нихъ, даже какая- „нибудь формакогнозія, имѣетъ своею цѣлью не „пользу, не удобства въ жизни, а истину. Замѣча- „тельно! Когда вы принимаетесь изучать какую-ни- „будь науку, то васъ прежде всего поражаетъ ея „начало. Я вамъ скажу, нѣтъ ничего увлекательнѣе „и грандіознѣе, ничто такъ не ошеломляетъ и не „захватываетъ человѣческаго духа, какъ начало ка- „кой-нибудь науки... Но... штука въ томъ, что у „каждой науки есть начало, но вовсе нѣтъ конца, „какъ у періодической дроби. Зоологія открыла „35.000 видовъ насѣкомыхъ, химія насчитываетъ 60 „простыхъ тѣлъ. Если современемъ къ этимъ циф- „рамъ прибавится справа по десяти нолей, зоологія „и химія такъ же будутъ далеки отъ своего конца, „какъ и теперь, а вся современная научная работа „заключается именно въ приращеніи цифръ.“

Докторъ Андрей Ефимычъ Рагинъ въ истинности научныхъ утвержденій не сомнѣвается, хотя и не можетъ радостно примириться съ тѣмъ, что „почти божескій умъ“ человѣка потухнетъ безъ слѣда и самый высокій геній превратится въ глину. Но пока онъ стоитъ внѣ жизни, весь поглощенный процес- сомъ мышленія, его теорія непоколебима. А теорія заключается въ томъ, что, такъ какъ умъ есть „на- слажденіе незамѣнимое“ и единственное, то все ос- тальное на свѣтѣ должно быть безразлично. Напри- мѣръ, „между теплымъ и уютнымъ кабинетомъ“ и грязной больничной палатой „нѣтъ никакой раз- ницы,“ „холодъ, какъ и всякую боль можно не чувст- вовать, ибо Маркъ Аврелій еще сказалъ: „Боль есть „живое представленіе о боли; сдѣлай усиліе воли, „чтобы измѣнить представленіе, и боль прекратится“;

„вдумчивый человекъ отличается именно тѣмъ, что презираетъ страданіе — онъ всегда доволенъ и ни-чему не удивляется“.

И вдругъ по стеченію самыхъ нелѣпыхъ случайностей Андрея Ефимовича начинаютъ самого считать сумасшедшимъ, увольняютъ со службы, а затѣмъ обманомъ сажаютъ въ ту самую отвратительную палату № 6, гдѣ много лѣтъ страдали больные, именно потому, что докторъ никогда своей больницей не интересовался.

Очутившись въ ужасномъ флигелѣ на запорѣ, одѣтый въ вонючій больничный халатъ, Андрей Ефимычъ впервые сталкивается лицомъ къ лицу съ жизнью.

„— Вотъ она, дѣйствительность“ — подумалъ Андрей Ефимычъ, и ему стало страшно“.

И, хотя онъ еще разъ пытается ухватиться за свои теоріи и успокоить себя философскимъ разсужденіемъ о томъ „что со временемъ все сгніетъ и обратится въ глину“, — ужасъ своего положенія, ужасъ отнятой у него навсегда свободы заставляетъ его въ первый разъ въ жизни сдѣлать усиліе, чтобы вырваться изъ отвратительнаго флигеля. Онъ пытается, вмѣстѣ съ другимъ больнымъ, отворить запертую дверь, кричить, требуетъ... Но сторожъ Никита, убѣжденный въ необходимости достигать порядка побоями, видитъ теперь въ лицѣ Андрея Ефимовича уже не своего прежняго начальника, а такого же больного, какъ и всѣ другіе, и набрасывается на него съ кулаками, бьетъ по лицу до крови, бьетъ по спинѣ...

Ужасъ и страхъ, охватившіе доктора съ той минуты, какъ его заперли съ сумасшедшими, теперь достигаютъ своего послѣдняго предѣла, сливаясь съ мучительной физической болью... — „и вдругъ въ „головѣ его, среди хаоса, мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны

„были испытывать годами, изо дня въ день, эти люди, казавшіеся теперь при лунномъ свѣтѣ черными тѣнями.

„Какъ могло случиться, что въ продолженіи больше, чѣмъ двадцати лѣтъ, онъ не зналъ и не хотѣлъ знать этого? Онъ не зналъ, не имѣя понятія о боли, значить, онъ не виноватъ, но совѣсть, такая же несговорчивая и грубая, какъ Никита, заставила его похолодѣть отъ затылка до пятъ“...

На другой день, избитый сторожемъ и потрясенный своей первой и послѣдней встрѣчей съ дѣйствительной жизнью, докторъ умираетъ отъ апоплексическаго удара:

„Позеленѣло въ глазахъ. Андрей Ефимычъ по-нялъ, что ему пришелъ конецъ и вспомнилъ, что Иванъ Дмитричъ, Михаилъ Аверьянычъ и миллионы людей вѣрятъ въ безсмертіе. А вдругъ оно есть? Но безсмертія ему не хотѣлось, и онъ думалъ о немъ только одно мгновеніе. Стадо оленей, необыкновенно красивыхъ и граціозныхъ о которыхъ онъ читалъ вчера, пробѣжало мимо него... Сказалъ что-то Михаилъ Аверьянычъ. Потомъ все исчезло, и Андрей Ефимычъ забылся навѣки.“

Чеховъ — не морализирующий писатель, какимъ часто бывалъ Толстой. Однако, къ этой повѣсти самъ собою просится тотъ эпиграфъ изъ Библии, который Толстой поставилъ къ роману „Анна Каренина“: „Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ.“

И не потому только, что докторъ становится жертвой зла, развитію котораго онъ самъ способствовалъ своимъ безразличіемъ къ живымъ людямъ и къ живой жизни.

Другое, болѣе характерное для Чехова, прорывается въ его разсказѣ, прорывается отнюдь не въ цѣляхъ нравоучительныхъ, а творчески интуитивно, изъ подсознательныхъ глубинъ его духа.

Докторъ Андрей Ефимычъ потрясенъ и болью физической и ужасомъ всего съ нимъ случившагося.

Но этимъ авторъ не ограничивается. Почему то „вдругъ“ „страшная и невыносимая мысль“ о томъ, что „такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня въ день эти люди“, т. е. больные, запертые въ палатѣ № 6, проносится въ головѣ доктора „среди хаоса“, естественно наступившаго въ его сознаніи, когда онъ, избитый сторожемъ, валится на кровать. И почему то за сутки до смерти „совѣсть, такая же несговорчивая и грубая какъ Никита, заставила его похолодѣть отъ затылка до пятъ?“

Вѣдь Андрей Ефимовичъ „обратится въ глину“... Такъ думаетъ онъ самъ. Такъ долженъ думать и Чеховъ, научно мыслящій интеллигентъ своей эпохи...

Откуда же взялась „несговорчивая и грубая“ совѣсть? Вслѣдствіе какихъ функцій нервномозговой системы пробудилась она у Андрея Ефимыча и вообще пробуждается у людей? Она не связана ни съ тошнотой, ни съ ознобомъ апоплексическаго удара, она заявляетъ о себѣ неожиданно и „вдругъ“... Для чего же? Неужели бессмысленно и случайно? И неужели лишь для того она заставила Андрея Ефимыча „похолодѣть отъ затылка до пятъ“, чтобы въ моментъ смерти, его помутившемуся сознанію явились „стадо оленей“, и „почтмейстеръ Михаилъ Аверьяновичъ, а потомъ все исчезло?“ Все и навсегда, кромѣ возможности продолжить свое „бессмертіе“, въ травѣ, въ камнѣ, въ жабѣ“?...

На это Чеховъ не даетъ отвѣта...

Между „превращеніемъ въ глину“ и совѣстью —

характерный для героев Чехова и для него самого „разрывъ“, міросозерцанія и міроощущенія.

Міросозерцаніе заставляетъ Андрея Ефимовича упорно стоять на томъ, что „черезъ миллионъ лѣтъ на земномъ шарѣ останутся только глина и голые утесы“, а какое то необъяснимое побужденіе, послѣ того, какъ онъ уволенный со службы, оказался въ бѣдности, въ тѣснотѣ, началъ тосковать и уже не могъ отдаваться по прежнему книгамъ и размышленіямъ, — толкаетъ его по субботамъ и по воскресеньямъ въ церковь. „Стоя около стѣны и зажмуривъ глаза, онъ слушалъ пѣніе и думалъ объ отцѣ, о матери, объ университетѣ, о религіяхъ: ему было покойно, грустно, и потомъ, уходя изъ церкви, онъ жалѣлъ, что служба такъ скоро кончилась“.

Мысль о религіи, о церкви возвращаетъ Чехова и его героев, какъ мы уже говорили выше, къ дѣтству, къ началу жизни, чистому, неповрежденному ничѣмъ воспріятію міра. Воспоминанія дѣтства, даже безрадостнаго, все таки радостны, ибо человѣкъ прикасается къ свѣжести и ясности своей души, къ чему то невозвратно прекрасному. Дѣтству, не знающему отрицанія, открытъ Богъ...

„Аще не будете, какъ дѣти, не внидите въ Царствіе Божіе...“ Не эта, ли попорченная нашимъ заблудившимся умомъ, вѣчная истина иногда вдругъ оживаетъ въ нашемъ сердцѣ, сокровенной его глубинѣ и, какъ птица, вырывающаяся на свободу изъ клѣтки, бьется объ металлическія прутья „научныхъ выводовъ“, „не подлежащихъ сомнѣнію“, открытій, аксіомъ и прочихъ утвержденій самонадѣяннаго человѣческаго разсужденія?

Гдѣ же истина?

Въ „точномъ ли знаніи“ или внѣ его, въ той области міра, которую не можетъ измѣрять оно своими маленькими мѣрками, исчислять тѣмъ цифро-



вымъ счисленіемъ какимъ исчисляются въ зоологiи „виды насѣкомыхъ“?

Наука базируется на нормѣ. Въ нормы — или безуміе, или бредъ больного или фантазія, — тотъ самый „возвышающій обманъ“, который, по словамъ Пушкина, „тѣмъ низкихъ истинъ намъ дороже“...

Вѣра Сони („Дядя Ваня“): — „мы увидимъ ангеловъ, мы увидимъ все небо въ алмазахъ“ — конечно, только „возвышающій обманъ“ съ точки зрѣнія современной Чехову „точной“ науки.

„Возвышающимъ обманомъ“ прекрасныхъ галлюцинацій живетъ молодой ученый Андрей Васильевичъ Ковринъ („Черный Монахъ“). Съ точки зрѣнія медицины, конечно, дѣло обстоитъ очень просто: Ковринъ переутомилъ чрезмѣрной работой свою нервную систему и вотъ его больному мозгу являются видѣнія. Онъ гдѣ-то прочиталъ или самъ выдумалъ легенду о томъ, какъ черный монахъ тысячу лѣтъ назадъ шелъ по пустынѣ Сиріи или Аравіи, послѣ чего миражъ этого монаха сталъ показываться въ разныхъ мѣстахъ земного шара „безъ конца передаваясь изъ одного слоя атмосферы въ другой“. Выйдя изъ предѣловъ земной атмосферы, „онъ теперь „блуждаетъ по всей вселенной, все никакъ не попадая въ тѣ условія, при которыхъ онъ могъ бы „померкнуть“. „Гвоздь легенды заключается въ томъ, „что ровно черезъ тысячу лѣтъ послѣ того, какъ монахъ шелъ по пустынѣ, миражъ опять попадаетъ въ „земную атмосферу и покажется людямъ. И будто „бы эта тысяча лѣтъ уже на исходѣ... монаха мы „должны ждать не сегодня-завтра“ — говоритъ Ковринъ.

И монахъ, дѣйствительно, является его больному воображенію, ведетъ съ нимъ бесѣды, которыя наполняютъ молодого ученаго необыкновеннымъ

восторгомъ и счастьемъ. Онъ весь вообще преображается; его душа сіяетъ вѣрой въ Бога, въ безсмертіе, въ великое назначеніе людей, а вѣра даетъ ему возможность любить, быть мягкимъ, снисходительнымъ даже къ слабостямъ людей. Счастье и высокое внутреннее состояніе Коврина однако длятся лишь до тѣхъ поръ, пока его не вылѣчиваютъ отъ душевной болѣзни. Придя „въ норму“, Ковринъ не только утрачиваетъ чувство счастья, но становится раздражительно-эгоистическимъ человѣкомъ. Онъ больше уже не любитъ ни свою жену, Таню, ни ея отца и отравляетъ имъ существованіе. Онъ самъ сознаетъ, что, вмѣстѣ съ исчезнувшей галлюцинаціей, исчезло и все высокое и прекрасное изъ его жизни. Онъ упрекаетъ своихъ близкихъ:

„— Зачѣмъ вы меня лѣчили?... Я сходилъ съ „ума...“, но зато я былъ веселъ, бодръ и даже „счастливъ...“. Теперь я сталъ... такой, какъ всѣ: я — „посредственность, мнѣ скучно жить...“. О, какъ вы „жестоко поступили со мной!...“. И дальше Ковринъ говоритъ: „— Какъ счастливы были Будда, Магометъ и Шекспиръ, что добрые родственники не лѣчили ихъ отъ экстаза и вдохновенія...“

Такъ думаетъ только Ковринъ или самъ Чеховъ, написавшій этотъ странный рассказъ, конечно, отнюдь не для того, чтобы дать художественное изображеніе одного изъ видовъ психическихъ заболѣваній?

Отвѣта поищемъ въ самихъ галлюцинаціяхъ, то есть въ бесѣдахъ Коврина съ „чернымъ монахомъ“.

„— Ты призракъ, галлюцинація“ — говоритъ „Ковринъ. Значитъ, я психически боленъ, ненормаленъ?“

„— Хотя бы и такъ. Что смущаться? Ты боленъ, потому что работалъ черезъ силу и утомился, „а это значитъ, что свое здоровье ты принесъ въ

„жертву идеѣ и близко время, когда ты отдашь ей  
„и самую жизнь. Чего же лучше? Это — то, къ  
„чему стремятся всѣ вообще одаренные свыше, бла-  
„городныя натуры.

„— Если я знаю, что я психически боленъ, то  
„могу ли я вѣрить себѣ?

„— А почему ты знаешь, что геніальные люди  
„которымъ вѣрить весь свѣтъ, тоже не видѣли при-  
„зраковъ? Говорятъ же теперь ученые, что геній  
„сродни умопомѣшательству. Другъ мой, здоровы  
„и нормальны только заурядные, стадные люди.  
„Соображенія насчетъ нервнаго вѣка, переутомленія,  
„вырожденія и т. п. могутъ серьезно волновать только  
„тѣхъ, кто цѣль жизни видитъ въ настоящемъ, то-  
„есть стадныхъ людей.

„— Римляне говорили: *mens sana in corpore sano*.

„— Не все то правда, что говорили римляне  
„или греки. Повышенное настроеніе, возбужденіе,  
„экстазъ — все то, что отличаетъ пророковъ, по-  
„этовъ, мучениковъ за идею отъ обыкновенныхъ  
„людей, противно животной сторонѣ человѣка, то-есть  
„его физическому здоровью. Повторяю: если хо-  
„чешь быть здоровъ и нормаленъ, иди въ стадо“.

„Геній сродни умопомѣшательству“... — это, дѣй-  
ствительно, признавала „точная наука“. Но, вмѣ-  
стѣ съ тѣмъ, превосходство генія надъ „стаднымъ  
человѣкомъ“ она не могла отрицать. Въ чемъ же  
его превосходство: только ли въ экстазѣ и вдохно-  
веніи, при помощи которыхъ создаются великія тво-  
ренія искусства, какъ у Шекспира, „великія религіи, за  
которыми идутъ милліоны людей, какъ шли за  
Буддой и Магометомъ?“

Только ли въ этомъ?

Творенія искусства — творенія фантазіи. Религія —  
тоже твореніе фантазіи, ея высочайшаго экстаза. Такъ,  
вѣроятно, думалъ Чеховъ и во всякомъ случаѣ не

скрывалъ своего предпочтенія „возвышающимъ обманомъ“, созданнымъ человѣческой геніальностью.

Но почему же, — самъ собою возникаетъ вопросъ, — геній творить только въ области фантазіи, можетъ создавать только миражи и обманы, хотя бы и „возвышающіе“?

Значить, геній всегда внѣ истины, если истина лишь въ нормѣ? И наоборотъ, истина-норма доступна лишь, незнающей полета, добросовѣстной мысли посредственнаго, хотя и очень ученаго ума?

„Норма“, узко огорожена предѣлами „точного знанія“. Она занимается „статистикой и бухгалтеріей“ — констатируетъ „очевидность“ и „факты“, классифицируетъ ихъ и подвергаетъ подсчету. И не потому ли „у каждой науки есть начало и нѣтъ конца“, что „точное знаніе“, идущее шагъ за шагомъ, почти что ошущью, не можетъ перескочить черезъ загородку „очевидностей“ и всегда останется „скуднымъ“, неспособнымъ удовлетворить никакимъ исканіямъ человѣческаго духа?

А вдругъ истина внѣ нормы? Вдругъ подлинно сущая реальность и находится какъ разъ за предѣлами той точной науки, которая можетъ лишь къ своимъ цифрамъ „прибавлять справа по десяти нолей“ и больше ничего?

Если люди томятся въ границахъ нормы настолько, что предпочитаютъ порою даже болѣзнь и безуміе, лишь бы найти болѣе высокое оправданіе своей жизни, чѣмъ конечное превращеніе всѣхъ и вся „въ глину“ на охладѣвшей земной корѣ, то не есть ли эта ихъ потребность, это настойчивое исканіе смысла бытія — самая реальная очевидность, имѣющая и реальную причину и Первопричину, о которыхъ не догадывается, подсчитывающее „виды насѣкомыхъ“, точное знаніе?

Въ другомъ еще болѣе „странномъ“ рассказѣ

Чехова, „Пари“, говорится о молодомъ юристѣ, который согласился на пари вынести 15 лѣтъ добровольнаго заключенія за уплату ему, если онъ не уйдетъ изъ заключенія раньше срока, двухъ милліоновъ рублей.

Добровольный узникъ садится на заперъ въ одномъ изъ флигелей въ саду банкира, съ которымъ держитъ пари.

Чеховъ ничего намъ не говоритъ о „заключенномъ“: ни о его характерѣ, ни о его образѣ мыслей, ни о его самочувствіи. Мы слѣдимъ за нимъ только издали, по тѣмъ просьбамъ, которыя онъ обращаетъ къ своему тюремщику-банкиру, въ зависимости отъ своего времяпрепровожденія въ заключеніи.

И вотъ мы узнаемъ, что „въ первый годъ юристъ, насколько можно было судить по его короткимъ запискамъ, сильно страдалъ отъ одиночества и скуки. Изъ его флигеля постоянно днемъ и ночью слышались звуки рояля... Книги онъ читалъ „преимущественно легкаго содержанія“.

„Во второй годъ музыка уже смолкла во флигелѣ, и юристъ требовалъ въ своихъ запискахъ „только классиковъ. Въ пятый годъ снова слышались звуки рояля, и узникъ попросилъ вина... Книгъ онъ не читалъ. Иногда по ночамъ онъ „садился писать, писалъ долго и подъ утро разрывалъ въ клочки написанное. Слышали, какъ онъ „плакалъ.

„Во второй половинѣ шестого года узникъ „усердно занялся ученіемъ языковъ, философіей и „исторіей.... банкиръ едва успѣвалъ выписывать для него книги...“

„Затѣмъ, послѣ десятаго года юристъ неподвижно сидѣлъ за столомъ и читалъ одно только „Евангеліе. Банкиру казалось страннымъ, что че-

„ловѣкъ, одолѣвшій въ четыре года шестьсотъ „мудреныхъ томовъ, потратилъ около года на чтеніе одной удобопонятной и не толстой книги. На „смѣну Евангелію пошли исторія религій и бого- „словіе.

„Въ послѣдніе два года заточенія узникъ читалъ чрезвычайно много, безъ всякаго разбора. То „онъ занимался естественными науками, то требовалъ Байрона или Шекспира. Бывали отъ него „такія записки, гдѣ онъ просилъ прислать ему въ „одно и то же время и химію, и медицинскій учебникъ, и романы, и какой-нибудь богословскій или „философскій трактатъ...“

Кончается разсказъ тѣмъ, что послѣ 15 лѣтъ заключенія юристъ намѣренъ за нѣсколько часовъ до условленнаго срока выходить изъ флигеля, дабы нарушить пари и тѣмъ самымъ лишить себя права на полученія двухъ милліоновъ.

Банкиръ, который за эти 15 лѣтъ разстроилъ свои денежныя дѣла и отъ уплаты двухъ милліоновъ долженъ совершенно разориться, проникаетъ во флигель наканунѣ срока съ намѣреніемъ убить заключеннаго. Онъ находитъ его спящимъ за столомъ, а передъ нимъ записку, въ которой узникъ послѣ пятнадцати лѣтъ одиночества подводитъ итогъ всему тому, что онъ прочелъ, узналъ, изучилъ и продумалъ за этотъ срокъ на полномъ досугѣ.

„Завтра въ 12 часовъ дня я получаю свободу и „право общенія съ людьми. Но прежде, чѣмъ „оставить эту комнату и увидѣть солнце, я считаю „нужнымъ сказать вамъ нѣсколько словъ. По чистой „совѣсти и передъ Богомъ, который видитъ меня, „заявляю вамъ, что я презираю и свободу, и жизнь, „и здоровье и все то, что въ вашихъ книгахъ называется благами міра.

„Пятнадцать лѣтъ я внимательно изучалъ земную  
„жизнь. Правда, я не видѣлъ земли и людей, но  
„въ вашихъ книгахъ я пилъ ароматное вино, пѣлъ  
„пѣсни, гонялся въ лѣсахъ за оленями и дикими  
„кабанами, любилъ женщинъ . . . Въ вашихъ книгахъ  
„я взбирался на вершины Эльборуса и Монблана и  
„видѣлъ оттуда, какъ по утрамъ восходило солнце  
„и какъ по вечерамъ заливало оно небо, океанъ и  
„горныя вершины багрянымъ золотомъ; я видѣлъ  
„оттуда какъ подо мной, разсѣкая тучи, сверкали  
„молніи, я видѣлъ зеленые лѣса, поля, рѣки, озера,  
„города . . . . .  
„. . . . .

„Ваши книги дали мнѣ мудрость . . .

„И я презираю ваши книги, презираю всѣ блага  
„міра и мудрость. Все ничтожно, брэнно, призрачно и обманчиво, какъ миражъ. Пусть вы горды,  
„мудры, и прекрасны, но смерть сотретъ васъ съ  
„лица земли наравнѣ съ подпольными мышами, а  
„потомство ваше, исторія, безсмертіе вашихъ геніевъ  
„замерзнутъ и сгорятъ вмѣстѣ съ земнымъ шаромъ.

„Вы обезумѣли и идете не по той дорогѣ. Ложь  
„принимаете вы за правду и безобразіе за красоту.  
„Вы удивились бы, если бы вслѣдствіе какихъ-  
„нибудь обстоятельствъ на яблокахъ и апельсиновыхъ  
„деревьяхъ вдругъ выросли лягушки и ящерицы, или  
„розы стали издавать запахъ вспотѣвшей лошади.  
„Такъ я удивляюсь вамъ, промѣнявшимъ небо на  
„землю. Я не хочу понимать васъ.

„Чтобъ показать вамъ на дѣлѣ презрѣніе къ  
„тому, чѣмъ живете вы, я отказываюсь отъ двухъ  
„милліоновъ, о которыхъ я когда то мечталъ, какъ  
„о раѣ, и которые теперь презираю . . .

„Смерть сотретъ васъ съ лица земли..., а потомство  
„ваше, исторія, безсмертіе вашихъ геніевъ замерзнутъ  
„или сгорятъ вмѣстѣ съ земнымъ шаромъ“... — Эти

слова какъ будто говорить докторъ Андрей Ефимычъ Рагинъ. Но говорить болѣе жестоко и неумолимо, не оставляя уже мѣста и значенія „почти божескому уму“ человѣка и восхищенію имъ... Сотрется съ земли и та наука, которую профессоръ Николай Степановичъ считаетъ „самымъ важнымъ, самымъ прекраснымъ и нужнымъ въ жизни человѣка“, утверждая, „что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви“.

Да, все „сотрется“. Но что же останется?

Останется „Богъ, который меня видитъ“ — утверждаетъ узникъ, отдавшій 15 своихъ лучшихъ лѣтъ на изученіе всѣхъ „эссенцій“ людскихъ интересовъ, устремленій, чувствъ, мыслей, научныхъ открытій, созданій искусства и т. д., и т. д. За этотъ срокъ онъ ничѣмъ не отвлекался, не находился ни подъ какимъ вліяніемъ. Отрѣзанность отъ людей и внѣшнихъ впечатлѣній должна была лишь способствовать максимальной объективности его оцѣнокъ. И что же онъ говоритъ? — Вы обезумѣли и идете не по той дорогѣ. Ложь принимаете за правду и безобразіе за красоту.“ „Вы, промѣнявшіе небо на землю.“

Откуда же у заключеннаго такой выводъ? Чеховъ не говоритъ ничего, не даетъ прямого отвѣта, а мимоходомъ, какъ и всегда, только упоминаетъ, что узникъ долго „неподвижно сидѣлъ за столомъ и читалъ Евангеліе“ и банкиру „казалось страннымъ, что „человѣкъ, одолѣвшій въ четыре года шестьсотъ му„дренныхъ томовъ, потратилъ около года на чтеніе „одной удобопонятной и не толстой книги.“

Гдѣ же credo самого Чехова?

Въ разсказѣ „Пари“, въ міровозрѣніи ли стараго профессора или въ пессимистическихъ утвержденіяхъ доктора Рагина?

Ни тутъ, ни тамъ.



Было бы грубой ошибкой произвольно приписывать автору по нашему выбору опредѣленные воззрѣнія тѣхъ или иныхъ его персонажей. Но отраженіе его мыслей, его переживаній, непрестанной внутренней борьбы, которая совершается въ душѣ, ищущей правды, несомнѣнно есть и тутъ тамъ.

А Чеховъ прежде всего и больше всего искалъ правды. Искалъ высшаго смысла бытія. Онъ заглядывалъ въ самое сокровенное человѣческихъ душъ, приникалъ къ нему. Слушалъ подвижниковъ науки, невѣрующаго профессора и рационалиста Андрея Ефимыча; слушалъ каявшагося Лаевского, самоувѣреннаго фонъ-Корена, молодого и наивнаго дьякона; слушалъ акаѣисты монаха Николая и восторженное восхищеніе ими послушника Іеронима; слушалъ безнадежныя разсужденія Тузенбаха о regretium mobile человѣческаго прогресса, слушалъ чистое и незлобивое сердце обиженной судьбой Липы, исповѣданіе Сони, „красоту святой фразы“ въ пасхальномъ канонѣ въ Свѣтлую ночь; рассказы Лаптева о своемъ „религіозномъ воспитаніи“ въ „благочестивомъ домѣ“ о томъ, почему онъ пересталъ вѣрить въ Бога и ходить въ церковь.

Въ конечномъ итогѣ вѣровалъ ли Чеховъ?

Никто не можетъ взять на себя смѣлости дать отвѣтъ на такой вопросъ. Мы знаемъ, онъ обронилъ однажды фразу, что „образованный человѣкъ не можетъ вѣровать въ Бога“.

Но и изъ этихъ словъ явнаго отрицанія все же никакого рѣшительнаго вывода дѣлать нельзя. Человѣческая душа не есть металлъ или камень, на которомъ съ нестирающейся опредѣленностью высѣкаются какіе-то знаки или буквы. Даже люди, исповѣдующіе сознательно и твердо свою вѣру, проходятъ не только черезъ періоды колебаній и сомнѣній, но и черезъ моменты самаго тягостнаго мучи-

тельного для нихъ невѣрія. Эти моменты духовнаго помраченія знали даже святые подвижники.

Что же можно сказать о русскомъ интеллигентѣ, врачѣ по образованію, котораго наука, а затѣмъ писательскій талантъ вывели изъ гущи самаго сѣраго быта, гдѣ безсознательная набожность, перемѣшанная съ суевѣріями, была не столько потребностью души, сколько укоренившейся привычкой, и, не достигая до глубины христіанства, не вникая въ ученіе Церкви, представляла собою лишь обязательную часть крѣпко установившагося, общаго обряда жизни въ его цѣломъ?

Въ дѣтствѣ и въ ранней юности этотъ бытъ вязкимъ тѣстомъ облѣплялъ душу Чехова. Вѣроятно, подобно Лаптеву, въ университетскіе свои годы, онъ съ радостнымъ чувствомъ освобожденія сбросилъ его съ себя, — а вмѣстѣ съ нимъ и дѣтскую вѣру, — жадно раскрывъ свой умъ и свою душу для иныхъ воспріятій въ столь радовавшей его своей культурностью интеллигентной средѣ. Но и на нихъ онъ не остановился, не застылъ. Зрѣніе художника, освѣщая жизнь вширь и вглубь, поставило передъ нимъ на-ново всѣ какъ будто уже давно разрѣшенные вопросы, умаляя значеніе „несомнѣннаго“, потребовало новой оцѣнки тому, что вчера казалось не только „сомнительнымъ“, но отвергнутымъ и совершенно ненужнымъ.

Есть основанія предполагать, что Чеховъ на протяженіи своей сравнительно очень недолгой жизни окончательнаго для себя отвѣта на эти вопросы найти не смогъ, не успѣлъ. Онъ жилъ въ постоянномъ колебаніи души, увѣренный въ томъ, что „никто не знаетъ настоящей правды“. И мы не возьмемъ на себя смѣлости отгадывать „настоящую правду“ внутренняго глубоко скрытаго міра этого исключительно замкнутаго человѣка.

Когда 2 іюля 1904 года онъ умиралъ въ отелѣ Баденвейлера и, подобно доктору Рагину „понимая, что ему пришелъ конецъ“, сказалъ нѣмецкому доктору: „Ich sterbe“, — мы не знаемъ, вспомнилъ ли онъ, что „милліоны людей вѣрятъ въ безсмертіе“, повѣрилъ ли въ него самъ, и, подобно Сонѣ, подумалъ, что „тамъ за гробомъ“, мы „увидимъ жизнь свѣтлую, прекрасную... увидимъ, какъ все зло земное, всѣ наши страданія потонуть въ милосердіи, которое наполнить собой весь міръ“... Или „безсмертія ему не хотѣлось, и онъ думалъ о немъ только одно мгновеніе“, покорно подчиняясь страшной неизбежности „забыться на вѣки“, и „превратиться въ глину“...

Большинство людей уноситъ съ собой свой послѣдній синтезъ, загадку предсмертнаго озаренія послѣдней на землѣ мыслью, послѣднимъ движеніемъ сердца и воли.

Унесъ эту загадку и Чеховъ. Но его художественныя творенія остались. И въ нихъ художникъ Чеховъ отъ „скудныхъ“ выводовъ науки, отъ неутоляющихъ душевной пустоты мечтаній о прекрасномъ будущемъ человѣчества, отъ обманчивой погони за обманчивымъ счастьемъ — отъ всей тоски земной, обращается къ тому, о чемъ „задумались“ въ морозный день въ павильонѣ на какомъ-то торжествѣ три старика: губернаторъ, городской голова и архіерей:

„— Думали они о томъ, что въ человѣкѣ выше происхожденія, выше сана, богатства и знаній, что послѣдняго нищаго приближаетъ къ Богу: о немощи человѣка, о его боли, о терпѣніи.“

Чеховъ по складу своего характера и темперамента не былъ проповѣдникомъ вообще. Онъ не пытался учить, какъ Толстой; горячо и страстно пророчествовать какъ Достоевскій. Но, думая, „о немощи

человѣка, о его боли, о терпѣніи“ и изображая въ человѣкѣ то, что „выше происхожденія, выше сана, богатства и знаній, что послѣдняго нищаго приближаетъ къ Богу“, онъ самъ своимъ творчествомъ „приближался къ Богу“. Не претендуя ни одной минуты угадывать и провидѣть пути человѣческой исторіи, даже ближайшую судьбу своего собственного народа, онъ сумѣлъ въ русской жизни увидѣть и то, что привело ее къ неизбѣжной катастрофѣ, и то, что является уже теперь основой русскаго духовнаго возрожденія.

## VII.

**Русская жизнь въ изображеніи Чехова. Тягота и томленіе. Повѣсть „Мужики“. Исканіе правды и смысла жизни въ простомъ народѣ. Повѣсть „Убійство“.**

Чеховъ никогда, даже намекомъ, не говорилъ о „желанной революціи“, о которой мечтала добрая половина русской интеллигенціи. Но, не говоря о ней и, вѣроятно, даже не предчувствуя ея скораго наступленія, онъ, самъ того не подозревая, вскрылъ ея основныя внутреннія первопричины, далеко не всѣмъ понятныя еще и теперь. Причины эти лежали прежде всего въ глубинѣ нашего духовнаго бытія, въ его искаженности. Онѣ могли быть видимы лишь религіозному человѣческому сознанію, понимающему высшій промыслительный смыслъ исторіи. Чеховъ, прежде всего искавшій правды и смысла жизни, если и не понималъ, то ощутилъ внутреннюю неизбѣжность русской революціи, до которой ему дожить не пришлось.

Онъ писалъ этюды и картины русской жизни, вглядываясь главнымъ образомъ въ ту среднюю часть русскаго общества, которой до него никто не изображалъ въ литературѣ съ такой полнотой и разнообразіемъ. Эта середина захватывала у него

интеллигенцію и полуинтеллигенцію, частью касаясь деревни и мужиковъ, но въ основѣ своей состояла изъ плотной „обывательской“ массы, которая никогда никакихъ переворотовъ сама по себѣ не дѣлаетъ, но, переваливаясь въ извѣстный моментъ всею своею тяжестью на ту или иную чашку вѣсовъ, укрѣпляетъ до нѣкоторой степени относительную прочность и неподвижность даннаго порядка вещей.

Вглядывался Чеховъ въ русскую жизнь очень пристально и то, что онъ писалъ, заставляло чувствовать, что у насъ далеко не все благополучно: жизнь сѣра, инертна и безсодержательна до невыносимости, и самая атмосфера русская, при всей нашей беззаботности, тяжка и гнететъ душу.

При этомъ Чеховъ не писалъ почти никогда ни о чемъ „вопіющемъ“, никого не „обличалъ“, не возмущался „существующимъ политическимъ строемъ“ — не въ его это было вкусъ и стилъ, — а изображалъ большею частью даже благополучный по своимъ потребностямъ бытъ. Чеховскіе чиновники, мѣщане, врачи, фельдшера, мелкіе захолустные помѣщики, трактирщики, кондуктора, фабриканты и мастеровые не умираютъ отъ голода, не бьются „въ тискахъ проклятаго режима“, какъ принято было у насъ выражаться. Почти ничего особенно внѣшне страшнаго въ произведеніяхъ Чехова нѣтъ. Если есть нужда и бѣдность, то не онѣ сами по себѣ ужасны, а ужасно то, что гнѣздится въ нихъ и около нихъ. Страшное видѣлось въ глубинѣ человѣческихъ душъ — во внутренней безысходности ихъ существованія. Люди утонули въ какомъ-то сѣромъ и липкомъ мѣсивѣ самой ничтожной повседневности. Они не живутъ, а скорѣе кишатъ, какъ черви, ползаютъ, иногда злобно давятъ другъ друга, ничего не видя передъ собою, кромѣ заботы выползти туда, гдѣ сытнѣе и просторнѣе, а тѣ, которые не могутъ довольствоваться

ползаньемъ въ жизненномъ навозѣ, — тѣ тоскуютъ и внутренно чахнутъ или просто погибаютъ отъ скуки или отъ съѣдающей душу тоски о какомъ-то иномъ, болѣе осмысленномъ существованіи...

Читатели иностранцы иногда съ изумленіемъ останавливаются передъ Чеховымъ. Станный писатель и странные его герои! О чемъ онъ груститъ и о чемъ они тоскуютъ, для чего ведутъ они эти нескончаемые разговоры въ пьесахъ и въ разсказахъ на нескончаемыя отвлеченныя темы?

Одинъ французскій театральный критикъ, увидѣвъ на сценѣ „Трехъ сестеръ“ и „Дядю Ваню“, писалъ: „Они (то есть дѣйствующія лица чеховскихъ пьесъ) не спятъ по ночамъ, ходятъ изъ комнаты въ комнату, спорятъ; не во время вдругъ начинаютъ пить и ѣсть, всѣ кажутся абсолютно праздными, не имѣющими никакихъ занятій и никакихъ обязанностей“.

И на самомъ дѣлѣ, можно ли тосковать изъ за того, что въ провинціи люди занимаются пересудами, сплетнями, мелкими заботами; что ихъ интересы тѣсно ограничены ихъ личными потребностями? Вѣдь такъ было и есть вездѣ во всемъ мірѣ. Да, такъ было и есть во всемъ мірѣ, но съ этимъ не могли примириться двѣ отличительныя особенности русской души: повышенная требовательность къ жизни, къ ея внутренней содержательности, и неусыпающая тревога ума и сердца за судьбу человѣка.

Русскій писатель вообще — самый встревоженный въ мірѣ писатель. Онъ все переживаетъ особенно остро, онъ какъ бы за все чувствуетъ себя отвѣтственнымъ. И это потому, что и русскій человѣкъ — максималистъ по натурѣ. Середины онъ не любитъ, на серединѣ онъ начинаетъ скучать и опускаться, на средней линіи онъ почти неизбѣжно становится пошлымъ. Для русскаго человѣка міръ никогда не за-

мыкался его страной, сколь ни огромна она. Можетъ быть, русскіе въ обычной жизни потому и были всегда плохими патріотами, что они чувствовали себя спаянными со всѣмъ міромъ. Не даромъ русскіе добровольцы въ свое время ѣздили сражаться не только за болгаръ и за сербовъ — это еще понятно, — но даже за буровъ противъ англичанъ, находя невозможнымъ „равнодушно отнестись къ тому, что сильные утѣсняють маленькій храбрый народъ“.

Если бы французскій театральный критикъ зналъ эти свойства русской души, видѣлъ бы (съ точки зрѣнія европейца, конечно, нелѣпую) озабоченность событіями въ Трансваалѣ, большую, нежели въ своемъ городѣ или въ своемъ уѣздѣ, то онъ бы не удивлялся ни ночнымъ разговорамъ о смыслѣ жизни въ „Дядѣ Ванѣ“ и „Трехъ Сестрахъ“, ни тоскѣ русскаго писателя о печальной безсодержательности обыденнаго сѣренькаго существованія.

Будучи очень русскимъ самъ, то-есть высоко требовательнымъ къ жизни, и заглядывая во всѣ углы нашего существованія, Чеховъ ощущалъ въ немъ предѣльный внутренній тупикъ.

О „безвыходности“ у насъ многіе писали, это была тема популярная и, кромѣ самыхъ большихъ талантовъ литературы, почти что господствующая у насъ, но трактовалась она совсѣмъ не по-чеховски, а подъ социальнo-экономическимъ и политическимъ угломъ зрѣнія. Между тѣмъ, читая Чехова, каждый долженъ былъ признать: — да жизнь очень тяжела! И тяжела она была не потому что не было у насъ тогда ни конституціонной монархіи, ни демократической республики и не состоялся „черный передѣлъ“, — мужикъ не получилъ полностью помѣщичьей земли, — нѣтъ, а по какой-то иной причинѣ. Что-то давитъ и тяготитъ всѣхъ. Что-же?

Невѣжество? Да, невѣжество, въ низахъ народ-

ныхъ почти повальное. Конечно, нужны и школы и просвѣщеніе и улучшенный бытъ для мужиковъ. Все это нужно. . .

Но вотъ въ городахъ мѣщанскій и мелко торговый классъ живетъ матеріально благоустроеннѣе, бытъ его опрятнѣе, смягченнѣе; чиновничество уже со-всѣмъ „цивилизовано“, а однако картина еще безотраднѣе, чѣмъ въ деревнѣ: водка, карты . . . мелкая самолюбивая обидчивость и мелкое тщеславіе; все погружено въ сонный покой лѣнивыхъ привычекъ, лѣнивыхъ мыслей. . .

А живыя встревоженные души людей интеллигентныхъ изнываютъ отъ неопредѣлимыхъ ими самими исканій и ожиданій, отъ своихъ неиспользованныхъ силъ.

И Чеховъ вотъ этихъ томящихся людей почему то особенно любить, хотя бы они были самыми бездѣльными и ненужными съ точки зрѣнія „общественной пользы“. Отъ дѣятельныхъ и довольныхъ своей дѣятельностью онъ или инстинктивно отворачивается или смотритъ на нихъ со скептической усмѣшкой. А тѣ, которые, достигнувъ мелко буржуазнаго самодовольства благодушествуютъ въ своихъ „футлярахъ“, внушаютъ му почти что отвращеніе, всегда переходящее у него въ жалость. Чеховъ, между прочимъ, зналъ, что русская натура совершенно не переноситъ мелко-буржуазнаго благополучія и, добившись его, непременно начинаетъ разлагаться и духовно и морально.

Трактирщики и содержатели постоянныхъ дворовъ, въ родѣ Дюди; мелкіе купцы, какъ Цыбукинъ, Матвѣй Саввичъ; полуинтеллигенты „хорошо устроившіеся“ типа фельдшера Сергѣя Сергѣича и цѣлая галлерея мастерски написанныхъ Чеховымъ художественныхъ портретовъ съ русской натуры — ни что иное, какъ мертвыя души. О нихъ можно сказать, что они



только существуют, но не живутъ человѣческой жизнью. А такихъ много. Плотными пластами осыли онѣ вездѣ, особенно въ стоячей водѣ глухого провинціального быта. Онѣ давятъ и гнетутъ всѣхъ, кто отъ нихъ зависитъ, онѣ заражаютъ воздухъ смрадомъ своихъ разложившихся душъ, подобнымъ смраду гнилой солонины, которую Цыбукинъ и Аксинья сбываютъ въ своей лавочкѣ фабричнымъ рабочимъ и мужикамъ.

Какая конституція или демократическая республика способны разбить эти непроницаемые пласты, вдохнуть живой духъ въ мертвыя души?

Россія огромна, всячески богата природными своими силами; человѣкъ русскій талантливъ, а между тѣмъ народъ нашъ въ цѣломъ далеко не живетъ въ мѣру всѣхъ своихъ природныхъ силъ; онъ не ощущаетъ и внутренняго творческаго единства націи: образованные классы и простой народъ раздѣлены цѣлой пропастью и не понимаютъ другъ друга („Новая дача“). Люди съ тонкой духовной организаціей большею частью одиноки и нерѣдко гибнутъ отъ этого. . .

Можно сказать, что чеховское творчество сводится къ двумъ основнымъ тезисамъ:

Тягота человѣческаго существованія во всемъ ея разнообразіи.

Томленіе души о чемъ то высшемъ, пока еще безымянномъ.

То и другое Чеховъ видѣлъ по обѣ стороны срединной непроницаемой толщи „мертвыхъ душъ“. Тягота и томленіе у Ирины, Ольги, Маши, у Астрова, Вершинина, Тузенбаха. . . Но своя тягота и свое томленіе въ самомъ низу, даже въ мрачно описанной жизни чеховскихъ „Мужиковъ“ и въ еще болѣе мрачной и страшной повѣсти „Убіиство“.

Мужики живутъ въ нищетѣ и мракѣ, въ грубости

непроходимой. Когда лакей при московской гостиницѣ, Николай Чикильдѣевъ, заболѣлъ, лишился мѣста и приѣхалъ съ женой Ольгой и дочерью Сашей въ свою родную деревню, откуда былъ взятъ въ Москву еще мальчикомъ, то онъ „войдя въ избу, испугался: такъ было темно, тѣсно и нечисто“. Въ темной и тѣсной избѣ еще темнѣе и тѣснѣе отъ людей. Отецъ Николая и братъ его, Кирьякъ, напииваются при всякой возможности, при чемъ Кирьякъ жестоко и злобно бьетъ свою жену Марью, до такой степени измученную и запуганную, что она „не только не боялась смерти, но даже жалѣла, что она такъ долго не приходитъ, и бывала рада, когда у нея умирали дѣти“. Мать Николая, раздражительная высохшая отъ работы старуха, „сердилась и ворчала отъ утра до вечера и часто поднимала такой крикъ, что на улицѣ останавливались прохожіе“. Она „старалась все дѣлать сама . . . и потомъ роптала, что „ее замучили работой. И все она безпокоилась, какъ бы кто не съѣлъ лишняго куска, какъ бы старикъ „и невѣстки не сидѣли безъ работы“. Окля, жена другого брата, дерзкая, озорная и распущенная женщина, никого не жалѣетъ и не любитъ; ей „по вкусу эта жизнь: и бѣдность, и нечистота и неутомная брань“. „Она ѣла, что давали, не разбирая; спала гдѣ придется“. . . Въ семьѣ у Чикильдѣевыхъ много дѣтей, которые растутъ безъ присмотра, какъ звѣрки; они живутъ среди брани и побоевъ, голодные, рано начинающіе испытывать не только страхъ, но и злобу. . .

Мужики не любятъ своей работы, тяготятся ею, и оттого особенно тяжело пьянствуютъ, а, напившись, бушуютъ, скверно бранятся и наводятъ ужасъ на всю семью.

Все, что было самаго мрачнаго и страшнаго то тутъ, то тамъ въ наиболѣе темныхъ и нищенскихъ

условіяхъ крестьянской жизни, Чеховъ точно намѣренно сосредоточилъ въ своей повѣсти. Его изображеніе деревни наводитъ ужасъ.

Отъ жизненной тяготы въ деревнѣ нѣтъ отдыха даже въ снѣ:

„Въ избѣ всегда плохо спали; каждому мѣшало „спать что-нибудь неотвязчивое назойливое: старику „— боль въ спинѣ, бабкѣ — заботы и злость, Марьѣ „— страхъ, дѣтямъ — чесотка и голодъ“. „Лѣтомъ „мучаетъ тяжелая работа, зимой — заботы и нужда. „О какая суровая, какая длинная была зима“ — говоритъ Чеховъ, описывая жизнь Чикельдѣевыхъ. „Уже съ Рождества не было своего хлѣба, и муку „покупали. Кирьякъ, жившій теперь дома, шумѣлъ „по вечерамъ, наводя ужасъ на всѣхъ, а по утрамъ „мучился отъ головной боли и стыда, и на него было „жалко смотрѣть. Въ хлѣву день и ночь раздавалось „мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у „бабки и Марьи. И, какъ нарочно, морозы все время „стояли трескучіе, навалило высокіе сугробы; и зима „затянулась: на Благовѣщенье задувала настоящая „зимняя вьюга, а на Святой шелъ снѣгъ“.

Казалось бы отъ тяготы этой люди должны совершенно утратить человѣческій образъ. Какія духовныя потребности можно предполагать въ такомъ звѣриномъ быту?

Мохоиъ суевѣрій обрастаетъ душа, а, рядомъ съ суевѣріями, отъ тупости и равнодушія, отъ озлобленности начинаетъ копошиться темная мысль о томъ, что ничего нѣтъ хорошаго ни на этомъ ни на „томъ свѣтѣ...“ вообще ничего нѣтъ. „Старикъ не вѣрилъ „въ Бога, потому что почти никогда не думалъ о „Немъ; онъ признавалъ сверхъестественное, но думалъ, что это можетъ касаться однѣхъ лишь бабъ, „и, когда говорили при немъ о религіи или о чу-

„десномъ и задавали ему какой-нибудь вопросъ, то онъ говорилъ нехотя: почесываясь:

„— А кто-жъ его знаетъ!

„Бабка вѣрила, но какъ-то тускло; все перемѣшивалось въ ея памяти, и едва она начинала думать о грѣхахъ и о смерти, о спасеніи души, какъ нужда и заботы перехватывали ея мысль, и она тотчасъ же забывала, о чемъ думала. Молитвъ она не помнила и обыкновенно по вечерамъ, когда ложилась спать, становилась передъ образами и шептала:

„— Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, Троиручицы Божьей Матери...

„Марья и Ѳекла крестились, говѣли каждый годъ, но ничего не понимали. Дѣтей не учили молиться, ничего не говорили имъ о Богѣ, не внушали никакихъ правилъ и только запрещали въ постъ ѣсть скоромное. Въ прочихъ семьяхъ было почти тоже: мало, кто вѣрилъ, мало кто понималъ.“

И не удивительно было это непониманіе. Была, конечно, церковь и былъ священникъ въ селѣ. Нужно было „крестить, вѣнчаться или отпѣвать“. Ни церковь, ни священникъ ничему не научали, хотя „въ хорошую погоду дѣвушки наряжались и уходили толпой къ обѣднѣ“. И всѣ говѣли. А „съ тѣхъ, кто въ Великомъ посту не успѣвалъ отвѣтяться, батюшка на святой, обходя съ крестомъ избы, бралъ по 15 копѣекъ.“

Читая объ этомъ у Чехова и вспоминая, теперь, кажущуюся очень, очень далекой, прошлую и мирную русскую жизнь, можно ли удивляться, что буря русской революціи такъ легко смела старый запыленный слой, какъ будто непоколебимой „народной вѣры“?

Но смела ли она его такъ, что не осталось ничего взамѣнъ, и русская душа превратилась въ гладко оструганную безбожной пропагандой доску? Или,

подъ слоемъ суевѣрій и тупого ко всему, кромѣ нужды, равнодушія въ самой глубинѣ этой души всегда оставался какой-то корень, отъ котораго могутъ пойти свѣжіе и крѣпкіе побѣги даже и послѣ бури и именно послѣ бури?

Въ „жвѣриномъ быту“ разглядѣлъ Чеховъ тоску человѣческихъ сердецъ не объ одномъ только хлѣбѣ...

Въ мрачной деревнѣ, которую онъ описывалъ, Ольга, жена Николая, пріѣхавшая съ мужемъ изъ Москвы, иногда вслухъ читаетъ Евангеліе или заставляетъ читать свою дочь, Сашу. Ольга сама „каждый день читала Евангеліе, читала вслухъ, по дьячковски, и многого не понимала, но святыя слова трогали ее до слезъ...

„..... Она вѣрила въ Бога, въ Божью Матерь, въ „угодниковъ; вѣрила, что нельзя обижать никого на „свѣтѣ, — ни простыхъ людей, ни нѣмцевъ, ни цыганъ, ни евреевъ, и что горе даже тѣмъ, кто обижаетъ животныхъ; вѣрила, что такъ написано въ „святыхъ книгахъ, и потому, когда произносила „слова изъ Писанія, даже непонятныя, то лицо у нея „становилось жалостливымъ, умиленнымъ и свѣтымъ.“

И вотъ оказывается, что эти мужики, изъ которыхъ „мало, кто вѣрилъ, мало, кто понималъ“, „въ „то же время всѣ любили Священное Писаніе, любили нѣжно, благоговѣйно, но не было книгъ, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга „иногда читала Евангеліе, ее уважали, и всѣ говорили ей и Сашѣ „вы“.“

Среди удушливой и безпросвѣтной тьмы мужицкой жизни на минуту вдругъ вспыхиваетъ какая-то искра, и при слабомъ даже ея свѣтѣ Чеховъ замѣчаетъ, что и въ самыхъ темныхъ душахъ не все еще померкло до полной безнадежности: души эти, пусть инстинктивно и бессознательно, пусть нена-

долго, но все же тянутся къ какому-то иному началу въ жизни, по своему томятся и тоскуютъ о прекрасномъ, чистомъ, радостномъ, чего они назвать не умѣютъ и во что вѣрить и о чемъ говорить Соня въ своемъ послѣднемъ монологѣ.

Страшную силу чисто русскаго контраста мы находимъ у Чехова въ описаніи деревенскихъ праздниковъ:

„... На Илью пили, на Успенье пили, на Воздви-  
„женье пили. На Покровъ въ Жуковъ былъ приход-  
„скій праздникъ, и мужики по этому случаю пили  
„три дня; пропили 50 рублей общественныхъ денегъ,  
„и потомъ еще со всѣхъ дворовъ собирали на водку...  
„Въ первый день у Чикильдѣвыхъ зарѣзали барана  
„и ѣли его утромъ, въ обѣдъ и вечеромъ, и ѣли по-  
„многу, и потомъ еще ночью дѣти вставали, чтобы  
„поѣсть. Кирьякъ всѣ три дня былъ страшно пьянъ,  
„пропилъ все, даже шапку и сапоги, и такъ билъ  
„Марью, что ее отливали водой. А потомъ всѣмъ  
„было стыдно и тошно.

„Впрочемъ и въ Жуковъ... происходило разъ  
„настоящее религіозное торжество. Это было въ ав-  
„густъ, когда по всему уѣзду носили Живоносную.  
„Въ тотъ день, когда ее ожидали въ Жуковъ, было  
„тихо и пасмурно. Дѣвушки еще съ утра отпра-  
„вились навстрѣчу иконѣ въ своихъ яркихъ наряд-  
„ныхъ платьяхъ и принесли ее подъ вечеръ съ  
„крестнымъ ходомъ, съ пѣніемъ, и въ это время за-  
„рѣкой трезвонили. Громадная толпа своихъ и чу-  
„жихъ запрудила улицу; шумъ, пыль, давка... И  
„старикъ, и бабка, и Кирьякъ — всѣ протягивали  
„руки къ иконѣ и жадно глядѣли на нее и говорили,  
„плача: — Заступница, матушка! Заступница!

„Всѣ какъ будто *вдругъ поняли, что между землей*  
„и небомъ не пусто<sup>1)</sup>, что не все еще захватили бо-  
„гатые и сильные, что есть еще защита отъ обидъ,

1) Курсивъ нашъ.

„отъ рабской неволи, отъ тяжелой невыносимой нужды,  
„отъ тяжелой водки.

„— Заступница, матушка! — рыдала Марья. —  
„Матушка!

„Но отслужили молебень, унесли икону, и все  
„пошло по старому, и опять слышались изъ трак-  
„тира грубые, пьяные голоса.“

Въ концѣ повѣсти Чеховъ рассказываетъ, какъ  
Ольга и Саша уходятъ изъ деревни, гдѣ умеръ Ни-  
колай, и гдѣ имъ такъ тяжело жилось. И все же  
Ольгѣ „было жалъ разставаться съ деревней и съ  
„мужиками. Она вспоминала о томъ, какъ несли Ни-  
„колая, и около каждой избы заказывали панихиду.  
„и какъ всѣ плакали, сочувствуя ея горю“.

Почему, откуда эта жалость?

За Ольгу, какъ-будто ея мыслями говорить Чеховъ:

„Въ теченіе лѣта и зимы бывали такіе часы и  
„дни, когда казалось, что эти люди живутъ хуже  
„скотовъ, жить съ ними было страшно: они грубы,  
„нечестны, грязны, нетрезвы, живутъ не согласно,  
„постоянно ссорятся, потому что не уважаютъ,  
„боятся и подозрѣваютъ другъ друга... Но все же  
„они люди, они страдаютъ и плачутъ, какъ люди, и  
„въ жизни ихъ нѣтъ ничего такого, „чему нельзя  
„было бы найти оправданія...“

Въ повѣсти „Убіѣство“ мракъ уже не отъ мате-  
ріальной нужды, а отъ темныхъ блужданій темной  
мысли, ищущей Бога и спасенія своими путями,  
подсказанными не сердцемъ, а невѣжественно само-  
увѣреннымъ анализомъ непонятой вѣры. Съ исклю-  
чительной тонкостью проникаетъ Чеховъ въ область  
разсужденій о Богѣ и религіи бунтующаго му-  
жицкаго сознанія, которое отъ равнодушнаго пріятія  
установившихся вѣками религіозно-обрядовыхъ на-  
выковъ, вдругъ переходитъ къ критикѣ и къ про-  
тесту. Такого рода критика и протестъ, въ зави-

симости отъ окружающихъ вліяній съ одной стороны и отъ духовнаго склада натуры съ другой, приводятъ или къ озлобленно-кошунственному отрицанію, подобному безбожнымъ настроеніямъ среди рабочихъ и крестьянъ въ Совѣтской Россіи, въ первый особенно періодъ большевистской революціи, — или къ самымъ неожиданнымъ и разнообразнымъ сектантскимъ уклонамъ.

Если Чеховъ былъ бы совершенно лишенъ религіознаго чувства, какъ человѣкъ, то едва ли бы онъ смогъ съ такой огромной силой художественной интуиціи проникнуть въ глубину духовныхъ соблазновъ, изобразить ихъ постепенное нарастаніе, въ которомъ въ одинъ клубокъ скатываются религіозное помраченіе, съ его нетерпимой ненавистью къ людямъ иной вѣры, и клокотаніе алчныхъ чисто звѣриныхъ инстинктовъ, охватывающихъ человѣка въ моментъ его наибольшаго духовнаго паденія.

Два двоюродныхъ брата, Матвѣй и Яковъ Тереховы, послѣ того какъ Матвѣй по болѣзни уволился съ завода, живутъ въ трактирѣ при станціи Прогонной, живутъ вмѣстѣ, потому что имущество Тереховыхъ не было раздѣлено еще ихъ отцами, а Яковъ, хранящій въ своихъ рукахъ общій дѣдовскій „капиталъ“ тысячъ въ тридцать, занимающійся ростовщицествомъ и другими такого же рода „доходными дѣлами“, не хочетъ разставаться съ деньгами и уклоняется отъ раздѣла.

Братья Тереховы отъ своего рода унаслѣдовали „приверженность къ леригіи“ и склонность къ упорному и темному богоискательству сектанскаго порядка. Черезъ сектанство прошелъ Матвѣй, который еще въ бытность на заводѣ создалъ было для себя свою „вѣру“; въ сектанство впалъ и Яковъ, богатый кулакъ-трактирщикъ, которымъ владѣютъ двѣ страсти, одинаково темныя — желаніе соблюдать



собственнымъ умомъ обрѣтенную вѣру, и, ничѣмъ неумѣряемая жадность къ наживѣ. Братья ссорятся постоянно на почвѣ вѣроисповѣдныхъ несогласій, ибо Матвѣй уговариваетъ Якова „образумиться“, какъ образумился въ свое время онъ самъ, а Яковъ и его сестра Аглая, питають злобу и раздраженіе къ Матвѣю и изъ за его съ ними разномыслія и изъ за того, что Матвѣй имѣетъ законныя права на половину общаго имущества.

Матвѣй, человѣкъ не корыстный, склонный къ мечтательности и къ эстетизму, любящій до восторга хорошее церковное пѣніе, чувствуетъ себя у брата одиноко и тяжело; денегъ у него нѣтъ; даже лошади ему Яковъ не даетъ сѣздить въ церковь къ службѣ, но судиться онъ съ нимъ не хочетъ и не знаетъ, какъ ему развязаться съ постылой жизнью на станціи Прогонной. У Якова же, особенно подъ вліяніемъ сестры Аглаи, физически и душевно изсохшей, раздражительной женщины, нарастаетъ къ брату недоброе чувство, оно густѣетъ въ потемкахъ собственной его духовной смуты и, наконецъ, выливается въ порывъ бѣшеная ярости: Яковъ и Аглая въ минуту ссоры изъ за вѣроисповѣдныхъ несогласій убиваютъ Матвѣя. Яковъ въ концѣ концовъ попадаетъ на каторгу, на Сахалинъ, и только тамъ, цѣною тяжелыхъ страданій, его очищенная горемъ душа находитъ настоящій путь къ Богу...

Исканіе правды, желаніе осмыслить жизнь и дать ей надлежащее направленіе — русскому складу души свойственны въ высшей степени. Правды и смысла эта душа ищетъ одинаково и на вершинахъ культурнаго знанія и въ полуграмотномъ состояніи:

Профессоръ Николай Степановичъ, убѣжденно исповѣдующій примать науки надъ всѣми иными движеніями человѣческаго духа, беспомощно разсуждаетъ самъ съ собой о томъ, чего бы ему хо-

тѣлось для себя лично и говорить: „въ моихъ  
„желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень  
„важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ, въ  
„моемъ желаніи жить“ ..... „во всѣхъ мысляхъ  
„чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ,  
„нѣтъ чего-то главнаго, что связывало бы все это въ  
„одно цѣлое ..... что называется общей идеей, или  
„богомъ живого человѣка. А коли нѣтъ этого, то,  
„значить, нѣтъ и ничего.“

„Человѣкъ не можетъ жить безъ вѣры“, думаетъ  
Яковъ Тереховъ, порывающій связь съ православной  
церковью и устанавливающій у себя дома свой  
богослужебный уставъ.

Ни Яковъ, ни Матвѣй, ни ихъ отцы и дѣды не  
знали науки, никогда не слыхивали объ „обмѣнѣ  
веществъ“ и о тѣхъ процессахъ, происходящихъ въ  
природѣ и въ человѣкѣ, о которыхъ могутъ раз-  
суждать зоологъ фонъ-Корень и докторъ Рагинъ.  
Ихъ мысль подвергаетъ оцѣнкѣ и критическому  
анализу инныя данныя. Но мысль работаетъ упорно  
и напряженно.

„Тереховы вообще всегда отличались религіоз-  
„ностью, такъ что имъ даже дали прозвище Бого-  
„моловы. Но, можетъ быть, оттого, что они жили  
„особнякомъ, какъ медвѣди, избѣгали людей и до  
„всего доходили своимъ умомъ, они были склонны  
„къ мечтаніямъ и къ колебаніямъ въ вѣрѣ, и почти  
„каждое поколѣніе вѣровало какъ-нибудь особенно.  
„Бабка Авдотья, которая построила постоянный дворъ,  
„была старой вѣры, ея же сынъ и оба внука (отцы  
„Матвѣя и Якова) ходили въ православную церковь,  
„принимали у себя духовенство и новымъ образамъ  
„молились съ такимъ же благоговѣніемъ, какъ и  
„старымъ; сынъ въ старости не ѣлъ мяса и нало-  
„жилъ на себя подвигъ молчанія, считая грѣхомъ  
„всякій разговоръ, а у внуковъ была та особенность,

„что они понимали Писаніе не просто, а все искали „въ немъ скрытаго смысла, увѣряя, что въ каждомъ святомъ словѣ должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнукъ Авдотьи, Матвѣй, съ самаго дѣтства боролся съ мечтаніемъ и едва не „погибъ; другой правнукъ, Яковъ Ивановичъ, былъ „православнымъ, но послѣ смерти жены вдругъ „пересталъ ходить въ церковь и молился дома. На „него глядя, совратилась и сестра Аглая: сама не „ходила въ церковь и Дашутку не пускала. Про „Аглаю еще рассказывали, будто въ молодыхъ лѣтахъ „она хаживала въ Веденяпино къ хлыстамъ и что „втайнѣ она еще продолжаетъ быть хлыстовкой, а „потому де ходить въ бѣломъ платочкѣ.“

Соблазнъ Матвѣя начинается съ того, что онъ, не довольствуясь своей воздержанной и цѣломудренной жизнью, по собственному разсужденію налагаетъ на себя такую суровую аскезу, которая переходитъ границы самыхъ строгихъ монастырскихъ уставовъ. Онъ не только почти лишаетъ себя пищи и совершенно уже ничего не ѣстъ въ особо важные постные дни, но, кромѣ того, налагаетъ на себя „всякія „послушанія: вставалъ по ночамъ и поклоны билъ, „камни тяжелые таскалъ съ мѣста на мѣсто, на снѣгъ „выходилъ босикомъ, ну и вериги тоже.“

Физическое изнуреніе безъ внутренней духовной работы надъ собою приводитъ Матвѣя къ неизбѣжному помраченію.

„Только вотъ по прошествіи времени исповѣдаюсь „я однажды у священника“ — рассказываетъ онъ о „себѣ — и вдругъ такое мечтаніе: вѣдь священникъ „этотъ, думаю, женатый, скоромникъ и табачникъ; „какъ же онъ можетъ меня исповѣдывать и какую „онъ имѣетъ власть отпускать мнѣ грѣхи, ежели „онъ грѣшнѣе меня?“ И съ этой мыслью Матвѣй идетъ къ другому батюшкѣ, но и тотъ его смущаетъ

своимъ несовершенствомъ, идетъ говѣть въ монастырь — и тамъ „сердце не спокойно, все кажется, „будто монахи не по уставу живутъ“... „Бывало, „Господи, прости меня грѣшнаго, стою это въ церкви, „а отъ гнѣва сердце трясется. Какая ужъ тутъ молитва? И представляется мнѣ, будто народъ въ „церкви не такъ крестится, не такъ слушаетъ; на „кого ни погляжу, всѣ пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, одинъ только я живу „по заповѣдямъ“.

Въ результатѣ, „возмечтавъ въ гордынѣ своей до невѣроятія“, Матвѣй на частной квартирѣ устраиваетъ свою молельню, гдѣ „держится устава святой Аѳонской горы“, правя службы, продолжающіяся „часовъ „десять, а когда и двѣнадцать“. „Монахи, все таки, „по уставу, во время каѳизмъ и паремій сидятъ, а „я желалъ быть угоднѣе монаховъ и все, бывало, на „ногахъ. Читалъ я и пѣлъ протяжно, со слезами и „со вздыханіемъ, воздѣвая руки, и прямо съ молитвы, „не спавши, на работу, да и работаю все съ молитвой. „Ну, пошло по городу: Матвѣй святой, Матвѣй больныхъ и безумныхъ исцѣляетъ. Никого я, конечно, „не исцѣлилъ, но извѣстно, какъ только заведется „какой расколъ и лжеученіе, то отъ женскаго пола „отбоя нѣтъ. Все равно, какъ мухи на медъ. Повалились ко мнѣ разныя бабки и старыя дѣвки, въ „ноги мнѣ кланяются, руки цѣлуютъ и кричатъ, что „я святой и прочее, а одна даже на моей головѣ „сіяніе видѣла. Стало тѣсно въ молельной, взялъ я „комнату побольше и пошло у насъ настоящее столпотвореніе, бѣсъ забралъ меня окончательно и заслонилъ свѣтъ отъ очей моихъ своими погаными копытами. Мы всѣ въ родѣ какъ бы взбѣсились. Я „читалъ, а бабки и старыя дѣвки пѣли, и этакъ долго „не ѣвши и не пивши, простоявши на ногахъ сутки „или дольше, вдругъ начинается съ ними трясеніе,

„будто ихъ лихорадка бьетъ, потомъ то одна крик-  
„нетъ, то другая — и такъ страшно! Я тоже тря-  
„сусь весь . . . самъ не знаю, по какой причинѣ, и  
„начинають наши ноги прыгать . . . не хочешь, а  
„прыгаешь и руками болтаешь . . . крикъ, визгъ,  
„всѣ пляшемъ, и другъ за дружкой бѣгаемъ, бѣгаемъ  
„до упаду. И, такимъ образомъ, въ дикомъ без-  
„памятствѣ впалъ я въ блудъ“ . . .

Отрезвляеть Матвѣя хозяинъ, у котораго онъ ра-  
боталъ, „Осипъ Варламовичъ, — по отзыву Матвѣя —  
„безъ образованія, но дальняго ума человѣкъ, . . .  
„строгой богоугодной жизни и труженикъ“. Съ глазу  
на глазъ разъясняетъ онъ Матвѣю настоящую цѣну  
его благочестія:

„ . . . . . Ты, говорить, думаешь, что ты святой?  
„Нѣтъ, ты не святой, а богоотступникъ, еретикъ и  
„злодѣй! . . .“ И пошелъ и пошелъ. . . Не могу я  
„вамъ выразить, какъ это онъ говорилъ складненько  
„да умненько, словно по писанному, и такъ трога-  
„тельно. Говорилъ часа два. Пронялъ онъ меня  
„своими словами, открылись мои глаза. Слушалъ я,  
„слушалъ и — какъ зарыдаю! „Будь, говорить,  
„обыкновеннымъ человѣкомъ, ѣшь, пей, одѣвайся и  
„молись, какъ всѣ, а что сверхъ обыкновенія, то отъ  
„бѣса. Вериги, говорить, твои отъ бѣса, посты твои  
„отъ бѣса, моленная твоя отъ бѣса; все, говорить,  
„это гордость“. На другой день, въ чистый поне-  
„дѣльникъ, привелъ меня Богъ заболѣть. Я надор-  
„вался, отвезли меня въ больницу, мучался я до  
„чрезвычайности и горько плакалъ и трепеталъ. Ду-  
„малъ, что изъ больницы мнѣ прямая дорога въ адъ,  
„и чуть ни померъ. Промучился я на одрѣ болѣзни  
„съ полгода, а какъ выпиcался, то первымъ дѣломъ  
„отговѣлся по настоящему и сталъ опять человѣ-  
„комъ“.

Старшій Тереховъ, Яковъ, становится на обособлен-

ный путь набожности не подъ вліяніемъ горячаго порыва достигнуть совершенства, который руководилъ его братомъ Матвѣемъ, а доходитъ до сектантства иначе. Яковъ, сухой и черствый дѣлецъ-стяжатель, не способенъ къ увлеченіямъ; онъ руководится умомъ, а не сердцемъ. И, если онъ подвергаетъ духовенство той же критикѣ, что и его братъ — „священники пили вино въ непоказанное время и курили табакъ“, — то только по тому, что въ вопросахъ вѣры онъ желаетъ и отъ себя и отъ другихъ такой же строгой отчетливости, какую онъ привыкъ наблюдать въ своихъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ. Сердце Якова Иваныча, пока не случается съ нимъ бѣды, не ищетъ близости Бога, оно не знаетъ ни мягкости, ни умиленія; только умъ ему настойчиво твердить, что спастись надо и что для спасенія требуется выполнить передъ Богомъ самымъ тщательнымъ образомъ тѣ чисто внѣшнія обязательства, которыхъ Богъ требуетъ отъ людей. Уставъ и обрядъ становятся на первое и главное мѣсто въ жизни Терехова и на нихъ костенѣетъ его религіозное сознаніе, ими онъ удовлетворяется, какъ удовлетворялось огромное количество такъ называемыхъ „православныхъ“ въ прежней, до революціонной Россіи.

„Онъ читалъ, пѣлъ, кадилъ и постился не для „того, чтобы получить отъ Бога какія-либо блага, а „для порядка“ ... „вѣра должна выражаться правильно, изъ года въ годъ, изо дня въ день въ извѣстномъ порядкѣ, чтобы каждое утро и каждый вечеръ человѣкъ обращался къ Богу именно съ тѣми словами и мыслями, какія приличны данному дню и часу... Сознаніе этого порядка и его важности доставляло Якову Иванычу во время молитвы большое удовольствіе. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этотъ порядокъ, на примѣръ, уѣзжать въ городъ за товаромъ или въ банкъ, то

„его мучила совѣсть, и онъ чувствовалъ себя не-  
„счастливымъ.“

Но при всей своей сухости и черствости, при своемъ пристрастіи къ деньгамъ, при бездушной формальной вѣрѣ и многихъ своихъ грѣхахъ, Яковъ Ивановичъ Тереховъ не похожъ все же ни на богомольнаго фельдшера Сергѣя Сергѣича, ни на „набожнаго и разсудительнаго“ лакея Мишеньку, который „молился Богу всегда съ земными поклонами и любилъ кадить у себя въ комнатѣ ладаномъ“ („Бабе царство“), ни на кого изъ людей съ пошло обывательскимъ или ханжескимъ налетомъ благочестія. Яковъ Ивановичъ искренно ставитъ вѣру на первое мѣсто въ жизни. Онъ молится безкорыстно и не на показъ, тѣмъ болѣе не „на всякій случай“. Вѣра — его убѣжденіе, его идея. И трагизмъ положенія Якова Ивановича въ томъ и заключается, что эта идея его, холодная и крѣпкая какъ стальной клинокъ, души его не смягчаетъ, не даетъ ему переживать ни любви, ни радости настоящаго христіанства, а въ концѣ концовъ вонзается въ него самого остриемъ грѣха, даже кроваваго преступленія.

Уединенная жизнь Якова Ивановича безрадостна и сурова. Онъ ее всю принимаетъ и выполняетъ, какъ долгъ, съ добросовѣстнѣйшей тщательностью вплоть до взиманія процентовъ съ кредиторовъ и до тайной торговли виномъ. И все же гдѣ-то, хотя, быть можетъ, очень рѣдко, какъ едва ощутимые толчки подземныхъ колебаній, начинается къ сознанию прикасаться совѣсть, тревожа ее, вызывая потерю внутренняго равновѣсія. Вотъ слышитъ Яковъ Ивановичъ, какъ его дочь Дашутка, обращенная въ его же вѣру, говоритъ работнику бранныя скверныя слова. Яковъ Ивановичъ „даже испугался“; онъ хочетъ прочесть дочери наставленіе, но видитъ по ея взгляду, что она совершенно не понимаетъ, почему нельзя про-

износить такихъ словъ. „... она показалась ему такою дикою, темной, и въ первый разъ за все время, пока она была у него, онъ сообразилъ, что у нея нѣтъ никакой вѣры. И вся эта жизнь въ лѣсу, съ пьяными мужиками, съ бранью представилась ему такою же дикою и темной, какъ эта дѣвушка...“ Увидѣвъ въ это же время припедшихъ къ Матвѣю жандарма и буфетчика со станціи, онъ вспомнилъ, что у этихъ людей тоже нѣтъ никакой вѣры и что „это ихъ нисколько не беспокоитъ“ и „жизнь стала казаться ему странною, безумною и безпросвѣтною, какъ у собаки; онъ безъ шапки прошелся по двору, потомъ вышелъ на дорогу и ходилъ, сжавъ кулаки, — въ это время пошелъ снѣгъ хлопьями, — борода у него развѣвалась по вѣтру, онъ все встряхивалъ головой, такъ какъ что-то ему давило голову и плечи; будто сидѣли на нихъ бѣсы, и ему казалось, что это ходить не онъ, а какой-то звѣрь, громадный, страшный звѣрь, и что, если онъ закричитъ, то голосъ его пронесется ревомъ по всему полю и лѣсу и испугаетъ всѣхъ.“

Яковъ Иванычъ Тереховъ по своему масштабу во много разъ крупнѣе своего двоюроднаго брата Матвѣя; умнѣе, глубже, крѣпче духомъ и потому то ему не такъ легко „обратиться“. Для него недостаточно наставленій какого нибудь Осипа Варламыча, тѣмъ болѣе наставленій добраго, но ограниченнаго Матвѣя. Сильную натуру кряжистаго, упорнаго Якова Иваныча можетъ побѣдить лишь большое потрясеніе, настоящая бѣда, и то не сразу. Даже на судъ онъ не признается, „хотя отъ мученія совѣсти и отъ мечтаній, которыя не покидали его и въ тюрьмѣ, душа его такъ же постарѣла и отошала, какъ тѣло“... „Онъ не имѣлъ уже никакой вѣры, ничего не зналъ и не понималъ, а прежняя вѣра была ему теперь противна и казалась неразумной,



темной“. Но его настойчивое стремленіе найти Бога и правду лишь на время замираетъ послѣ оглушенія первымъ ударомъ и просыпается вновь вмѣстѣ съ неутолимой тоской по родной сторонѣ.

„Съ тѣхъ поръ, какъ онъ пожилъ въ одной „тюрьмѣ вмѣстѣ съ людьми, пригнанными сюда съ „разныхъ концовъ, — съ русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, „евреями, и съ тѣхъ поръ какъ прислушался къ ихъ „разговорамъ, наглядѣлся на ихъ страданія, онъ „опять сталъ возноситься къ Богу, и ему казалось, „что онъ, наконецъ, узналъ настоящую вѣру, ту самую, которой такъ жаждалъ и такъ долго искалъ „и не находилъ весь его родъ, начиная съ бабки „Авдотьи. Все уже онъ зналъ, понималъ, гдѣ Богъ „и какъ должно Ему служить, но было непонятно „только одно, почему жребій людей такъ различенъ, „почему эта простая вѣра, которую другіе получаютъ „отъ Бога даромъ вмѣстѣ съ жизнью, досталась ему „такъ дорого, что отъ всѣхъ этихъ ужасовъ и страданій, которые очевидно будутъ безъ перерыва „должаться до его смерти, у него трясутся, какъ у „пьяницы, руки и ноги? Онъ взглядывался напряженно въ потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верстъ этой тьмы онъ видитъ родину, видитъ „родную губернію, свой уѣздъ, Прогонную, видитъ темноту, дикость, безсердечіе и тупое, суровое, скотское равнодушіе людей, которыхъ онъ тамъ „покинулъ; зрѣніе его туманилось отъ слезъ, но онъ „все смотрѣлъ вдаль, гдѣ еле-еле свѣтились блѣдные огни паровоза, и сердце щемило отъ тоски по „родинѣ и хотѣлось жить, вернуться домой, рассказать тамъ про свою новую вѣру и спасти отъ погибели хотя бы одного человѣка и прожить безъ „страданій хотя бы одинъ день.“

**Чеховъ и русская революція. Настроенія въ русской литературѣ послѣ Чехова. Паѳосъ разрушенія у Андреева и Арцыбашева. Значеніе творчества Чехова.**

Чеховъ не дожилъ до революціоннаго приступа 1905 года, а, слѣдовательно, никакихъ явныхъ симптомовъ русской катастрофы, разразившейся со всей силой черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ первой вспышки, онъ не видѣлъ. Между тѣмъ, ни одинъ изъ писателей, ему современныхъ или выдвинувшихся послѣ него, не подводилъ насъ, какъ мы уже указывали, столь близко къ самымъ глубокимъ и неустранимымъ причинамъ неизбѣжнаго рано или поздно потрясенія всей русской жизни сверху до низу. Неизбѣжность же потрясенія, сама собою вытекающая, какъ итогъ, изъ всего того, что написалъ Чеховъ, состояла въ томъ, что у русскаго человѣка въ отдѣльности и у русскаго народа въ цѣломъ не было той внутренней духовной оси, вокругъ которой совершается творческое вращеніе жизни. Источники „живой воды“ оказались или высохшими или засоренными... „Жизненный эликсиръ“ позитивизма не могъ утолить жажды русской души — казалась прогорклой его влага, она мутила или отравляла души скорбью. Скорбью чеховскихъ героевъ, скорбью самого Чехова.

Если припомнить, пришедшихъ на смѣну Чехову, Андреева и Арцыбашева, которыми до опьянѣнія зачитывались у насъ интеллигенція и особенно интеллигентная молодежь, то мы увидимъ, что чистая чеховская скорбь смѣнилась патологическимъ дурманомъ разрушительной злобы и сексуальной распущенности. Одно съ другимъ свивалось въ общій клубокъ. Уже клекотала, еще скрытая пока, мсти-

тельная жадность къ террору въ „Красномъ смѣхѣ“ Леонида Андреева, въ моментъ русско-японской войны; уже чувствовалось отчаянно безшабашное помутнѣніе душъ въ общественныхъ лозунгахъ „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“... Потомъ, въ періодъ первой революціи, дразня и опьяняя читателя, въ литературное тогдашнее творчество злободневно напряженное, брызнула кровь съ писательскихъ перьевъ: картины казней и террористическихъ покушеній являлись одна за другой на фонѣ предшествовавшей имъ андреевской „Бездны“, въ которую тянули молодежь ничѣмъ не сдерживаемые чисто звѣринные соблазны жизни.

Революція 1905 года „не удалась“. Надо было найти иное утоленіе уже бушевавшимъ инстинктамъ, и началась апологія мрачнаго духовнаго анархизма. Печальная чеховская тоска по вѣрѣ и „вышимъ цѣлямъ бытія“ уступила мѣсто въ литературѣ кощунственнымъ глумленіямъ надъ вѣрой, надъ всякимъ устремленіемъ въ высоту: сумасшедшій священникъ („Василій Өивейскій“), сумасшедшій отъ потери сына, въ моментъ отпѣванія его въ церкви, какими-то дикими воплями, обращенными не то къ Богу, не то къ мертвецу, тщетно пытается его воскресить... Разсказъ, достойный напечатанія въ безбожныхъ изданіяхъ нынѣшняго совѣтскаго комсомола, былъ встрѣченъ почти что съ восторгомъ тогдашней читающей публикой... Другое, тоже принадлежавшее перу Леонида Андреева, произведеніе „Савва“, прославляло „голаго человѣка на голой землѣ“, все опустошившаго въ себѣ самомъ и вокругъ себя. Это были тогдашніе призывы къ „свободѣ“, на которые во всей полнотѣ откликнулся уже коммунизмъ...

Арцыбашевъ устами героя своего знаменитаго когда-то романа, „Санинъ“, звалъ „къ солнцу“,

и этимъ „солнцемъ“, по понятіямъ автора и его многочисленныхъ почитателей, единственно могущимъ освѣтить жизнь и сдѣлать ее прекрасной, оказывалась самая разнузданная вакханалія половыхъ инстинктовъ, топчущая и уничтожающая всякое подобіе большой и полной человѣческой любви.

Дурманъ разрушительной злобы и гипертрофія звѣриной сексуальности не могли не вызывать реакціи у пресытившихся: начались самоубійства, устраивались „клубы огарковъ“ и „клубы самоубійцъ“. . . Въ поэзію ворвалось не менѣе больное и извращенное русское „декадентство“, издѣвательски насилующее самый русскій языкъ и русскій стихъ, повторявшее то же самое „отрицаніе всего“, которое уже было поставлено, какъ нѣкая новая и очередная „проблема будущаго“ и „Саввой“ и „Санинымъ“. Еще задолго сравнительно до большевицкой революціи, заслуженный большевицкій поэтъ, не такъ давно кончившій самоубійствомъ, Владиміръ Маяковский, написалъ свое „Облако въ штанахъ“ и публично декламировалъ стихи о томъ какъ Богъ, его, Маяковского, книгу „пойдетъ по небу читать своимъ знакомымъ“ (sic!) . . .

Весь матеріалъ для большевизма съ его разрушительной стихіей уже былъ на лицо, если не въ полномъ своего развитія, то „въ образцахъ“ и „конспектахъ“. . .

И неудивительно, что въ предреволюціонный періодъ у насъ Чеховъ былъ не то что забытъ совсѣмъ, а отодвинутъ въ какую-то исчерпанную давность. Все чеховское казалось изжитымъ до конца. И понадобилась страшная и кровавая русская буря, сорвавшая всю нашу жизнь съ ея вѣковыхъ корней, для того, чтобы этотъ тончайшій по чуткости, по художественному своему слуху писатель могъ быть „проявленъ“, какъ проявляется фо-

тографическая пластинка, не достаточно прежде держанная въ соответствующемъ „виражѣ“.

Съ Андреевыми и Арцыбашевыми революція совершенно покончила потому, что коммунистическая дѣйствительность далеко превзошла робкіе по сравненію съ ней „чаянія“ и „призывы“ предреволюціонной литературы: двѣ или три террористическія бомбы замѣнились сотнями тысячъ бомбъ: „Семь повѣшенныхъ“ (разсказъ Андреева) — миллионами растерзанныхъ, разстрѣлянныхъ, утопленныхъ, задущенныхъ и распятыхъ; санинская „свобода любви“ наполнила сифилисомъ и всѣми видами венерическихъ болѣзней совѣтскіе „дѣтдома“; санинское „солнце“ померкло передъ сексуальными преступленіями въ родѣ кошмарной исторіи Чубарова переулка, гдѣ насилловавшіе женщину стояли „въ очереди“ по привычкѣ „дѣлать хвосты“ у совѣтскихъ магазиновъ...

Вся больная, лихорадочная литература, напоминавшая своимъ изступленнымъ напряженіемъ выкрики дервишей, кружащихся въ священномъ танцѣ и возбуждающихъ себя ударами кинжаловъ по собственному тѣлу („чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“) — вся эта литература лежитъ теперь въ глубокой могилѣ, на которой выросли развѣ только „одуванчики“ спеціального, по совѣтскому заказу выполненнаго, пролетарскаго словеснаго производства. Рядомъ съ Чеховымъ она — разбитый щепень на дорогѣ, затоптанный исторіей.

Мы не хотимъ отрицать, что и у Андреева и у Арцыбашева и у другихъ, въ томъ числѣ и у физически уцѣлѣвшаго послѣ своей литературной смерти Горькаго, котораго въ нѣкоемъ почетномъ „мавзолеѣ“ коммунистическая власть хранить въ томъ же порядкѣ, какъ и трупъ Ленина, — что у всѣхъ нихъ было какое-то дарованіе. Но оно не выдержало

смѣны эпохъ. Оно стало не нужнымъ, какъ не нужны сами ихъ произведенія. И эти писатели и ихъ произведенія сыграли роль симптоматической сыпи на русскомъ народномъ организмѣ и, какъ сыпь, должны были исчезнуть.

Время само дѣлаетъ свои оцѣнки, во всякомъ случаѣ, подготавливаетъ ихъ. Личныя вкусовыя пристрастія къ авторамъ, какъ и наличіе въ нихъ извѣстнаго таланта, кое въ чемъ даже яркаго, одинаково не могутъ воскресить того, что умерло.

Чеховъ выдержалъ смѣну эпохъ, не потому что онъ всегда былъ дорогъ литературно развитому читателю и привлекателенъ какъ человѣкъ, а потому что охватъ его художественнаго кругозора, глубина его вниканія въ вѣчныя основы человѣческаго сердца далеко оставили за собою литературную цѣнность мастерски имъ написаннаго русскаго „жанра“.

Вершинины, Тузенбахи, Астровы, Рагины, сестры Ольга, Ирина и Маша, и всѣ почти персонажи Чехова, взятые въ цѣломъ, теперь, конечно, во многомъ поблекшія отъ времени, хотя и прекрасно выполненныя, гравюры отошедшей эпохи. Но не въ нихъ цѣнность Чехова, ибо не въ краскахъ и линіяхъ только его сила. Цѣнность и сила Чехова въ подслушанной имъ тревогѣ человѣческаго духа, тревогѣ стоящей недосыгаемо высоко надъ самыми важными и насущными вопросами земного бытія.

„Не о единомъ хлѣбѣ живѣ будетъ человѣкъ,“ — вотъ что всѣмъ своимъ творчествомъ утверждаетъ Чеховъ. И утверждалъ онъ это даже среди всей нашей неустроенности житейской, передъ лицомъ вопіющей нужды и невѣжества, которыя, казалось бы, именно въ первую голову требовали усиленнаго о себѣ „житейскаго попеченія.“ Онъ его и не отрицалъ. Онъ былъ имъ озабоченъ больше многого множества самыхъ „неутомимыхъ общественныхъ

дѣятелей“, озабоченъ до горькой печали, потому что душа Чехова вся была соткана изъ любви и „жалѣнія“. Изъ любви и жалѣнія не къ отвлеченному человѣчеству, а къ каждой душѣ. Именно, именно онъ, какъ никто въ русской литературѣ, съ глубочайшимъ смиреннымъ всепрощеніемъ подходилъ къ самымъ страшнымъ гноящимся ранамъ на людяхъ, къ безпросвѣтному ихъ помраченію и говорилъ: „Но все же они люди, они страдаютъ и плачутъ, какъ люди, и въ жизни ихъ нѣтъ ничего такого, чему бы нельзя было найти оправданія“.

Чеховъ не заявлялъ себя среди невѣрующей интеллигенціи непоколебимо вѣрующимъ христіаниномъ, но онъ былъ христіаниномъ, ибо „возлюбилъ много“, ибо какъ христіанинъ страдалъ и скорбѣлъ „о всякой душѣ христіанской скорбящей же и озлобленной, милости Божіей и помощи требующей“.

Не знаетъ скорбей и „озлобленій“, доводящихъ до тоски, только вѣрующіе люди. Въ изображеніи Чехова только ихъ радость во-истину свѣтла и не омрачена никакимъ налетомъ пошлости. И эти же вѣрующіе люди, въ противовѣсъ всѣмъ другимъ персонажамъ Чехова, какъ-то не блекнутъ въ нашихъ глазахъ даже отъ времени, не застилаются нисколько даже самымъ легкимъ туманомъ прошлаго: ихъ души одинаково связаны и съ прошлымъ и съ настоящимъ Россіи и русскаго народа; настоящему они, пожалуй, ближе, ибо въ немъ они не столь одиноки, какъ были одиноки въ прошломъ, свѣта рѣдкими огоньками въ общей мглѣ.

Говоря объ отношеніи Чехова къ человѣку, нельзя не отмѣтить одной особенно характерной черты его творчества. Упоминая о дѣйствующихъ лицахъ въ произведеніяхъ Чехова, мы все время употребляли старое привычное выраженіе „герои“. На самомъ дѣлѣ герои въ, какъ таковыхъ, въ литературно при-

нятомъ смыслѣ этого слова у Чехова, собственно нѣтъ. У него совсѣмъ нѣтъ персонажей, выдвинутыхъ на первый планъ или личными свойствами ихъ характера, или обстоятельствами. Даже въ театральныхъ пьесахъ Чехова фактически никогда нѣтъ (кромѣ неудачной драмы „Ивановъ“) ни одного главнаго лица. Какъ въ „Трехъ сестрахъ“ три сестры одинаково насъ занимаютъ собою, такъ и въ „Дядѣ Ванѣ“ вниманіе зрителей привлекаетъ не одинъ только Войницкій, но и Соня и докторъ Астровъ. Въ „Вишневомъ Садѣ“ мы съ равнымъ участіемъ слѣдимъ за судьбою всей семьи, даже за судьбою стараго Фирса, забытаго въ запертомъ и покинутомъ домѣ.

Чеховъ, какъ будто, никому не отдаетъ сугубаго предпочтенія: для него всѣ люди въ равной мѣрѣ интересны и важны, ибо они всѣ „все же люди“.

Оттого, что Московскій Художественный театръ въ основу своего сценическаго творчества полагалъ именно максимальное стараніе въ разработкѣ каждаго характера, даже каждаго человѣческаго силуэта со всѣми ему одному присущими особенностями, пьесы Чехова на сценѣ этого театра и приобрѣтали совершенно исключительную жизненную звучность, которой нельзя было почувствовать при исполненіи ихъ артистами другихъ театровъ, нельзя было въ полной мѣрѣ уловить и въ чтеніи, благодаря отсутствію въ нихъ сильнаго внутренняго движенія и внѣшняго дѣйствія.

Героевъ у Чехова не было, потому что каждая душа неповторима и значительна сама въ себѣ — во первыхъ и потому, что почти всѣ они одинаково слабы, жалки, несчастны: — и дурныя и хорошія, — вовторыхъ.

Слабы же жалки и несчастны всѣ, за рѣдкими



исключеніями, по той причинѣ, что „никто не знаетъ настоящей правды“.

„Настоящей правдѣ“ не учать ни мужицкихъ дѣтей, ни самихъ мужиковъ, которые „любили священное Писаніе, любили нѣжно, благоговѣйно“, но которымъ „некому было читать и объяснять“ его; не учили ни Лаптева въ домѣ „благочестиваго“ отца-милліонера, ни Лаевского въ домѣ у чопорной его матери, ни доктора Андрея Ефимыча, которому отецъ угрозилъ не признавать его своимъ сыномъ, если онъ пойдетъ въ „попы“... Никого почти не учили, и въ каждомъ общественномъ словѣ это обусловливалось своими особыми причинами, помимо тѣхъ общихъ причинъ, которыя едва ли не всякую живую душу въ Россіи повергали въ тоску жизненной пустоты.

Умственная культура тогда, при Чеховѣ, не указывала пути къ „настоящей правдѣ“, а дѣтская наивная вѣра, какъ золотая пудра елочныхъ украшеній, или тускнѣла или осыпалась послѣ того, какъ погасали дѣтскіе елочные огоньки...

И тосковали опустошенныя души.

Въ благородной „никчемности“ жили и умирали многіе въ культурной средѣ, духовно обезкровленные, они безпомощно-вдыхали: „смыслъ... всетаки смыслъ...“

А въ массѣ народной, у самыхъ корней Россіи, нарастали мракъ, озлобенность, недовѣріе къ образованнымъ, порою какое-то безпричинное озорство, ищущее, хотя бы въ разрушеніи, израсходовать избытокъ лишней силы (Дымовъ въ повѣсти „Степь“).

И всеобщимъ томленіемъ русская жизнь набухла, какъ рѣка передъ ледоходомъ.

Томленіе должно было разрѣшиться.

Страшный потокъ, многое ломающій и уносящій безвозвратно, долженъ былъ пронестись по Россіи,

чтобы все встряхнуть, всѣхъ переполошить до испуга, до ужаса, до смерти... Но, зато, смыть, несмываемую ничѣмъ инымъ, плѣсень, смести паутину, вѣками накопившуюся въ складкахъ и углахъ нашего быта и нашихъ душъ... И потокъ хлынулъ... съ кровью.

Чеховъ этого не увидѣлъ. Никакъ объ этомъ не говорилъ. Онъ вообще почти не говорилъ о вопросахъ „общественнаго характера и значенія“. Онъ говорилъ только о человѣкѣ, и его душѣ, о его судьбѣ.

Но, сказанное о человѣкѣ, не сказано ли и о людяхъ? Въ судьбѣ отдѣльной личности не повторяется ли часто судьба многихъ?

Яковъ Ивановичъ Тереховъ, крѣпкій русскій человѣкъ, крѣпко усыпленъ въ вѣками накопившемся мракѣ. Онъ живетъ въ крѣпко построенномъ прабабкой домѣ своего постоялаго двора при станціи Прогонной. Живетъ онъ благополучно и тоже крѣпко. И по виду онъ „очень красивый старикъ, высокаго роста, съ широкою сѣдою бородой, почти до пояса...“ „Одѣвается онъ чисто и прилично“ въ „длинную поддевку изъ хорошаго сукна или романовской полушубокъ“. Его уважаютъ за богатство и силу, зовутъ по имени и отчеству, Яковомъ Ивановичемъ, а за благочестіе весь его родъ получаетъ прозваніе Богомоловыхъ. И можетъ ли кому придти въ голову, что его богатство и чинность и крѣпкая жизнь пойдутъ прахомъ?

Однако, приходитъ часъ, и Яковъ Ивановичъ пробуждается и отъ вѣкового мрака, и отъ всей своей прочно налаженной жизни. Разбудила его бѣда, даже преступленіе — пролитая кровь. Отъ малыхъ ежедневныхъ грѣховъ сумеречнаго своего существованія впадаетъ онъ въ страшный грѣхъ братоубійства... Осудили его на долгую каторгу; онъ сталъ арестантомъ, нищимъ, все потерялъ... „По

имени и отчеству его давно уже никто не величалъ, а звали просто Яшкой“.

И вотъ, среди позора и каторжнаго рабства, „онъ, наконецъ, узналъ настоящую вѣру, ту самую, которой такъ жаждалъ и такъ долго искалъ и не находилъ весь его родъ...“ „Все уже онъ зналъ и понималъ, гдѣ Богъ и какъ должно Ему служить...“

Не то ли же самое и не такой ли страшной цѣной „узнаетъ“ теперь и русскій народъ, который еще видитъ у себя „темноту, дикость, безсердечіе“, видитъ неслыханныя преступленія; который, подобно Якову Иванычу, потерялъ „имя и отечество“ и все еще несетъ свой каторжный срокъ?

И неся его, онъ еще не до конца понимаетъ „почему эта простая вѣра, которую другіе получаютъ отъ Бога даромъ вмѣстѣ съ жизнью, досталась ему такъ дорого“, почему именно русской душѣ суждено было пройти тяжкій очистительный путь такихъ „ужасовъ и страданій“, отъ которыхъ „трясутся руки и ноги...“

---

## Оглавленіе.

Введеніе	5
I. Чеховъ и его герои. Отношеніе Чехова къ человѣку и его судьбѣ. Тоска у Чехова. Жизнь и смерть. Печаль примиренности.	17
II. Исканіе смысла бытія. Русская интеллигенція у Чехова. „Лишніе люди“. Духовная пустота жизни.	39
III. Вѣрующія души. Религіозное пріятіе жизни и ея страданій. Повѣсть „Въ оврагѣ“. Липа. Зло какъ грѣхъ.	56
IV. Вѣра и дѣтскость души. Автобіографическій разсказъ „На страстной недѣлѣ“. „Архіерей“. „Кошмаръ“.	72
V. Послушникъ Іеронимъ. О. Христофоръ. Дьяконъ Побѣдовъ. Повѣсть „Дуэль“. Покаяніе Лаевского. Воскресеніе души въ изображеніи Толстого и Чехова. Разсказъ „Студентъ“.	97
VI. Разрушеніе вѣры. Формально бытовое благочестіе и идеи передовой интеллигенціи въ эпоху Чехова. Трагедія раціонализма и позитивизма. „Палата № 6“. Разрывъ міросозерцанія и міроощущенія у самого Чехова. „Черный монахъ“. „Пари“. Вѣрилъ ли Чеховъ?	133
VII. Русская жизнь въ изображеніи Чехова. Тягота и томленіе. Повѣсть „Мужики“. Исканіе правды и смысла жизни въ простомъ народѣ. Повѣсть „Убіиство“.	178
VIII. Чеховъ и Русская революція. Настроенія въ русской литературѣ послѣ Чехова. Паеосъ разрушенія у Андреева и Арцыбашева. Значеніе творчества Чехова.	199



Ж У Р Н А Л Ъ

# „ПУТЬ“

Органъ  
Русск. Религіозной Мысли  
подъ редакціей  
Н. А. БЕРДЯЕВА

Изд. Религіозно-Философ-  
ской Академіи въ Парижѣ

Выходитъ каждые три мѣсяца

Годовая подписка (четыре книги) . . Фр. 35.— съ перес.  
Отдѣльныя книги журнала . . . . . по 10.— безъ перес.

„ПУТЬ“ имѣетъ двѣ задачи. Прежде всего онъ даетъ мѣсто русской творческой мысли въ области бого-словія, религіозной философіи и религіозной соціологіи. Но журналъ ставитъ также своей цѣлью освѣщать съ христіанской точки зрѣнія современный кризисъ культуры, современныя церковныя, культурныя и соціальныя событія, давая возможность высказаться разнымъ точкамъ зрѣнія. При широкой терпимости „ПУТЬ“ отстаиваетъ творческое направле-ніе въ христіанствѣ и стремится пробудить сознаніе значительности новыхъ задачъ, поставлен-ныхъ современнымъ міромъ передъ христіанской мыслью и совѣстью.

„ПУТЬ“ слѣдитъ за новыми книгами, русскими и ино-странными, представляющими интересъ бого-словскій, философскій, религіозно-культурный и религіозно-соціальный. Въ журналѣ печатаются статьи представителей западной христіанской мысли, специально для него написанныя.

## ПОДПИСКА

НА „ПУТЬ“ принимается непосредственно въ Издательствѣ  
**YMCA-PRESS, 10, Bd. Montparnasse, Paris (XV). France.**

а также во всѣхъ русскихъ книжн. магазинахъ

Проспектъ „ПУТИ“ съ подробнымъ содержаніемъ каждаго номера — высылается бесплатно по первому требованію.